Диана Виньковецкая

Бостон 2005

Литературные инсталляции

Такие же американцы люди как и мы?

НА ЛИНИИ ГОРИЗОНТА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

“На линии горизонта” - литературные инсталляции, 7 рассказов на тему: такие же американцы люди как и мы? Ага-Дырь и Нью-Йорк – абсурдные сравнения мест, страстей, жизней. “Осколок страсти” – как бесконечный блеснувший осколочек от Вселенной любви. “Тушканчик” - о проблеске сознания у маленького существа.

- Диана Виньковецкая
  -
  - Ага–Дырь и Нью–Йорк
  - Осколок страсти
  - Тушканчик и я
  - Повар Юрка
  - Донской казак в Вирджинии
  - Пост скриптум
  - Записки из Вандервильского дома

Диана Виньковецкая
НА ЛИНИИ ГОРИЗОНТА
Литературные инсталляции
Такие же американцы люди как и мы?

ДИАНА ВИНЬКОВЕЦКАЯ, автор шести книг, лауреат двух литературных премий

Из отзывов на книги Дианы Виньковецкой:

«Ай да Дина, Ваша хевра удостоилась шедевра» — Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат.

«яркая и трогательная книга» — Сергей Довлатов, Радиостанция Свобода.

«Редко кто писал так живо, выразительно и объективно!» — о. Александр Мень.

«… прекрасная книга — во всех отношениях… это редчайший случай», — Проф. Ефим Эткинд, Сорбонский Университет, Париж.

«Крупное литературное событие… Финальные страницы книги я читал с замиранием сердца». — Проф. В. Дмитриев, Университет Оклахомы, Уорлд Литератор Тудэй.

«…увлёкся. Книга очень важная, очень личная… Переполнена настоящим миром» — Виталий Коротич.

«…понравилось необычайно… о трёх русских судьбах в Америке… о большем: о судьбах внутри Судьбы… — подлинный шедевр» — Проф. В. Дмитриев, Университет Оклахомы.

«… ярко и вдохновенно показана судьба творческой личности» — А. Левенбук, ведущий «Радио–няня»; директор Еврейского Московского театра.

«… книга прелестна и тонка, как и всё написанное Дианой Виньковецкой». — Мирра Борисова, редактор, Мы, Иерусалим.

«…понравилось необычайно… о трёх русских судьбах в Америке… о большем: о судьбах внутри Судьбы. — подлинный шедевр». — Проф. В. Дмитриев, Университет Оклахомы.

«…ярко и вдохновенно показана судьба творческой личности». — А. Левенбук, ведущий «Радио–няня»; директор Еврейского Московского театра.

«Глубокое проникновение в психологию творческого и разрушительного начала в любви. Написано в лучших традициях классической русской литературы». — Ю. Ерёмин, историк, Пушкинский дом, Скт. Петербург.

«Такая как ты Дина на свете одна едина!» — Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат.

«…прочёл… и сознаюсь — с изрядным волнением… написано с душевной чуткостью, проницательностью, бесстрашием…» — И. Ефимов, писатель, издатель, Инглвуд, Нью Джерзи.

«Две книги, «Илюшины разговоры» и «Горб Аполлона», должны быть на столе в каждой семье». — С. Лён, академик, Советник Президента Ельцина по культуре.

«Дина, Вы — мастер». — С. Бабёнышева, Зав. редакции «Нового мира».

«Сочетание экзистенциальной глубины Сартра и литературы Гоголя» — В. Навроцкий, писатель, философ. Скт. Петербург.

КНИГИ ДИАНЫ ВИНЬКОВЕЦКОЙ:

Илюшины разговоры
Америка, Россия и я
Ваш о. Александр. Переписка с о. Александром Менем
По ту сторону воспитания
Горб Аполлона

Ага–Дырь и Нью–Йорк

Я покинула свою несправедливую страну, перестала быть её подданной, переплыла океан, оказалась на другой стороне Атлантики в Новом свете — в самой демократической стране. Отправилась невесть куда — безвозвратно. Переместилась в пространстве — в новый город, в другой язык, в иную культуру.

— Ну и как? — спросил мой знакомый художник Игорь. Этот незримый разговор происходил где-то посредине Европы, и я думать не думала, что он расшевелит воспоминания, сравнения и превратится в целое размышление всё на ту же тему: Америка и Россия.

— Нельзя отказать себе в удовольствии движения в направлении к себе, — начала я ответ, затянувшийся на целое повествование, — изменяться в зависимости от опыта — времени — пространства — места твоего обитания, вопреки или вместе с обретением платьев, домов, комфорта. Если же смотреть на Землю со стороны другой звезды, то есть с большой высоты, то результаты таких перемещений вряд ли разглядываются, хотя мне они открыли… Тут голос моего собеседника прервал меня:

— Что «в сущности, весь мир — провинция… а не провинциальна только Библия», и что «мир весьма дикое место», — так ты в «своей» Америке написала. — И стоит ли куда-то перемещаться? Может, только для того, чтобы ещё раз убедиться, что везде толпы, пыль, сухая земля, неприбранный мусор? И люди везде — ещё люди? И мечутся между Добром и Злом, или скорей всего, как сказал Поэт, между Плохим и Ужасным?

— Вот то-то и оно, что это я написала после того, как пожила в Америке достаточное время, во всяком случае у меня не хватило бы ни мужества, ни взгляда заявлять такое, если бы осталась в своей земле, — не изжила бы неполноценность перед Западом… И думается, мало бы что рассмотрела кроме привычного. Говорю только о себе. И если теперь я не идеализирую внешние перемещения, то это легко сказать после того, как пыталась столько времени отыскивать то, чего нет… во вне. Ни в «своей», ни в «несвоей» Америке не попалось такого места, где бы возвышался и летал, хотя возвышенная радость может посетить тебя в любом месте, даже в самой заброшенной дырке, в самом «запредельном» углу. Хоть где — в столице, в пустыне, на краю земли может почудиться царство звуков, красок, света, воли, беспредельность; вдруг ощутишь пространство, как свободное дыхание. Миг. И опять же, где бы ты ни находился, прекрасная радость улетает, унося с собой всю многоцветную музыку, —

остаётся только одинокий звук твоего несоответствия, нелепости и абсурда — тебя и места. И при невероятном разносе всего что ни есть на свете, при всех крайностях взаимоотношений, эмоциональных всплесках есть удивительно общее между тобой и местом — несоответствие тебя и пейзажа. Это роднит захолустья со столицами, блистательный Нью–Йорк с диким Ага–Дырём, и — тобой.

— И ты не боишься таких слов? Хочешь довести всё до какого-то общего знаменателя, выровнять, обобщить дырки и столицы? Стереть между ними грань? Поднять Ага–Дырь до Нью–Йорка, или опустить Нью–Йорк до Агадыря? — перебил меня мой собеседник.

— Нет, я только хочу посмотреть: что же за гранью? Что рассмотрится глядя из дырки и что с высоты небоскрёба? Предполагает ли абсурд равновесие? И что из всего этого получится в знаменателе? Что останется в остатке? И какой же это будет остаток? Сопоставляют же самые интеллектуальные представления философов о мире с мыслями и действиями самых «последних» прозаических людей. А бесконечная вселенная любви разбивается на осколки, которые падают на всю землю, и на дырки тоже. И почему бы ни рискнуть весело и грустно объединить органически–необъятный Нью–Йорк и маленькое захолустье по тому вечному, что есть в каждом отдельном человеке? А если заглянуть, что твориться у каждого в душе, то как отличить — кто откуда? Может, только для того, чтобы ещё раз убедиться, что «люди везде — ещё люди, и мечутся между Добром и Злом», — как ты сказал.

— Не абсурдно ли сравнивать такие несхожие места — столицу мира — с самой заброшенной среди степей дыркой, о существовании которой никто и знать не знает? — С оттенком иронии и усмешкой придирался мой художник, а сам, казалось, почему-то хотел, чтобы я говорила на эту тему. — Урбанистический пейзаж — и степь — ошеломительный контраст. Разница в положении между Агадырём и Нью–Йорком так велика, что какое может быть сравнение? Всем известно, что Нью–Йорк около океана, в дельте большой реки — столица мира, а никому неизвестный Агадырь внутри континента среди степей — дырка, которую на географической карте даже точкой нельзя ограничить — не будет видно. И хотя в Агадыре живут люди, и в Нью–Йорке проживает достаточно многообразное человечество, но внешне это два несопоставимых мира. Что ты придумала?

— В современном искусстве существуют абсурдные сопоставления: в инсталляциях, коллажах, тоже наделённых качествами, которые не могут сочетаться, к примеру, у Дюшана в

его знаменитом реди–мейд «Велосипедное колесо» — велосипедное колесо, вмонтированное в табуретку. Колесо и табуретка. А у меня будет — небоскрёб и чум. Юрту–чум можно поставить в небоскрёбе и посмотреть насколько переплетаются небоскрёбы с чумами?

И получится литературная инсталляция. Конечно, меж этими поселениями — пласты геологической истории, но и там и тут есть общее: ущербное и любимое. И везде есть небо.

— Безусловно, чтобы где-то комфортно жить, нужно что-то там любить, хоть что-нибудь одно, по крайней мере. Что ты могла любить в Ага–дыре? Ума не приложу.

— Вдыхая первородный дух агадырской степи, я забывала и себя, и родителей, и всё, что ни есть на свете. Сейчас переведу дух и продолжу. А на просторах Нью— Йорка, надышавшись воздухом, нашла потерянное. Кажется, философ Диоген считал, что основа всего — воздух. У греков дыхание есть жизнь. «Пока дышу — надеюсь». И из самого тёплого воздуха возникает душа. «Душой, дыханием твоим живущей…» У меня есть слабость к воздуху, любовь к высоким потолкам, к большим окнам, в замкнутых пространствах — задыхаюсь. В брезенте палатки, нависающем прямо над носом, я прорезала щёлочку, чтоб видеть краешек звёзд, — иначе трудно уснуть. Как-то среди ночи подошёл баран и фыркнул мне прямо в лицо.

— Одного воздуха недостаточно для жизни и для таких больших сравнений, воздух хорош для живописи, как в картинах Леонардо, рассекающие полосы воздушной дали. А ты хочешь «в гадчайшей, бесспорной дряни отыскивать прекрасное и высокое?»

— Как я сейчас понимаю, Агадырь дал мне нечто, что подготовило меня к Нью–Йорку, хотя тогда знать об этом я не могла. В агадырские времена многое ускользало от меня, не приходило в голову, не придавалось значения ценности тех мгновений и встреч, деталей, фрагментов, которые иногда так ясно оживают. Что-то «агадырское» будто со мной повторилось и повторяется. И хотя я приняла и полюбила всяческие преимущества американской жизни, и кажется, более или менее уже естественно себя тут чувствую, но в душе я осталась «агадырской», с Востока. Внутри меня управляет язык моего рождения, а в этом языке так свободно меняются местами глаголы и существительные, что от этой «тусовки» — не могу избавиться, — и я в ней, среди говорящего на этом языке народа.

И вот ещё почему. Агадырь для меня место — где я впервые услышала всем известные слова, обращённые ко мне: «Ты — моя милая»; они там повисли на игольчатых стеблях ковыля, и их уже не снять оттуда. Там я узнала лучшее, что есть в жизни. И я не

могу исключить Агадырь из существующего, из своей памяти, которая, конечно, отражает утопическую реальность, но я и не стремлюсь к объективности, хотя может быть, без этого не обошлось.

— Как говорят в народе, «взялась за гуж…» абсурдных, парадоксальных сравнений, то давай, сравнивай! Хочешь наверстать утраченное время, оживить исчезнувшее. Посмотрим, что у тебя получится.

И вот, наконец, я оказываюсь в вагоне, идущем без расписания, — время отправки которого возникает неизвестно откуда — в непредсказуемой зависимости от неизвестно кого, — и несущем меня навстречу — неизвестно чему. Этот ходящий наобум, вне расписания, вагон, следующий до станции Агадырь, прицепляют к поезду «Москва–Караганда», и он отходит от платформы. Я еду в этом вагоне, заполненном геологами, геофизиками, студентами. И как каждый, кто отправлялся в юном возрасте в дальнее путешествие, испытываю радостное волнение. Меня взял на практику бывший аспирант нашей кафедры, составляющий описание рельефа Прибалхашья для своей диссертации, но красоты рельефа и науки его мало занимали. Кроме него я ни с кем не знакома, и неслышно лежу на своей полке. В вагоне стоит завидный гвалт. Кроме меня, никто не молчит. Всё многочисленное геологическое общество гудит, разговаривает, шумит, вагон сотрясается от приветствий, смеха, шуток, песен. Все знают друг друга. Мой начальник тоже занят разговорами, расспросами и бесконечно ходит по всем углам. На меня в этом весёлом вагоне никто не обращает внимания, хотя всё иллюзорно, и я украдкой наблюдаю за людьми, но больше смотрю в окно.

Вагон мчится сквозь мелкие холмы, разрезая казахский мелкосопочник. Со всех сторон сизо–зелёный ландшафт — бугристая равнина с ковылью, полынью, осокой… иногда блеснут белые зонтичные цветы. Мелькают окаменевшие русла рек… Могильники с набросанными камнями. Прижавшийся к земле секс–аул, обнимающий отдельные выпуклости сопочек. Заметила слово «секс» в колючем кустарнике, то-то он такой прилипчивый. Овцы со скачущим пастухом. Редко, как коричневые пятна, мелькнут строения — полуразвалюхи, купола юрт, конусы каких-то стен. Далеко–далеко на закруглении земли иногда появится дым, то ли от костров, то ли от пожаров, и слегка затуманит горизонт. Вагон толкается, вибрирует, едет и едет через эти однообразные степи, которым конца и края не видно. И чем больше и дольше я смотрю на этот ландшафт, тем меньше вижу что-либо примечательное. А ведь тут были караванные пути,

соединяющие Восток и Запад. Ханские царства. Крики и всплески. Куда всё делось? Призрачная мистика судьбы. И как я тут оказалась? Инстинкт кочевника, чингизхановская кровь заговорила?

В глазах отпечатывается жёлто–буро–сизо–зелёный колорит рельефа — сухой, голой, непокрытой земли. И только впоследствии стану изумляться, как этот цветовой отпечаток степи будет сопровождать меня, куда бы я ни поехала, этот внутренний пейзаж останется со мной навсегда, — навек запечатлится на сетчатке.

К тому времени, когда я шагнула на агадырскую землю, у меня уже было кое–какое представление об окружающих Агадырь окрестностях. И вот вижу сам Агадырь — поселок без церквей, без мечетей, без синагог, без дворцов, без парков и садов, без петербургских туманных мостов, без проспектов, без названий улиц, всё «без»…, а только со слепленными из глины и досок домами— кибитками. Всё кибитки и кибитки, — никакого характера у посёлка. Ничего не оживляет картину этого безликого места. И конечно, ничего в строениях запоминающегося, ни готики, ни барокко, ни мраморных лестниц. Нет архитектора. Даже вокзала нет. Пустая степь с убого печальными строениями бетонного цвета. И кое–где сплошной штакетный забор с полным отсутствием зелени. Смесь кишлака и посёлка городского типа. Всё перемешано: то совсем грязные запущенные улицы с голодными собаками, роющимися в помойках, то более или менее пристойные строения. Здесь, прогуливаясь, не получаешь культурного образования. Однако при ближайшем рассмотрении замечается больший контраст между кварталами. Вот выделяется улица выбеленными фасадами домиков, палисадниками с живыми цветами — живут сосланные немцы Поволжья; несколько южных улиц тоже отличаются чистотой и белыми ставнями, добротными крышами — поселение ссыльных «самостийных» украинцев, баптистов. В центре вокруг школы и экспедиции — дома местных начальников, «селебрити», клуб, библиотека. Около библиотеки несколько небольших домиков — здесь живут «динозавры» (сейчас они уже вымерли) — сосланные за «недооценку негативного человеческого потенциала» — коммунисты–идеалисты. Я познакомилась с ними. Это были две высланные еврейки, И. С. и Э. М., милые, приветливые, озабоченные. Одна работала в библиотеке, другая в клубе. Они любили людей, коммунистическую идею и были заняты просвещением народа, готовя его к настоящему счастью общей жизни. И если кто-нибудь из геологов пытался усомниться в строительстве земного блаженства и безнадёжности

пролетарского сознания, то они обижались. Высланные, отсидевшие большие сроки в знаменитых Карлагах, жившие среди изношенных жизнью людей, среди выцветших, ободранных стен с двумя железными кроватями и кривым столом, они охраняли свою веру от посторонних вмешательств. Сколько же её нужно иметь, чтобы создавать внутри себя душевный покой? И сколько за неё было выстрадано, и как дорого эта вера досталась, что оторваться от неё было невозможно.

От заброшенного Агадыря не ждёшь никаких откровений и не обманешься. Знаешь все уходящие и приходящие перспективы задолго до того, как их увидишь. Знаешь, чего ожидаешь. А от перспектив всечеловеческого Нью–Йорка ждёшь откровений. Издалека наделяешь его всеми чудесами возвышенной жизни. Нью–Йорк! Америка! Вот он, Бродвей… с бесчисленным множеством представлений, Таймс сквер… с молниями новостей, Метрополитен… блеск магазинов, искромётный поток машин… Эмпайр Стэйт билдинг. Каждый, вступающий на нью–Йоркскую землю, перегружен представлениями об её окрестностях, людях, себе… и преувеличивает и приукрашивает понятия о нью–йоркской жизни. Привозит сюда свои этические оценки, мечты, интересы, загадки и думает, что тут всё похоже на его фантазии. Случается, что ожидаемое не расходится с увиденным, но бывает, что оно совершенно не совпадает с реальностью. Моя встреча с Нью–Йорком была восхитительно–пугающая.

Первый нью–йоркский шофёр такси — «негр преклонных годов», — узнав, что мы русские, оборачивается к нам и зычным голосом чётко произносит: «Пушкин! Пушкин!»

— по–русски, ошеломляя нас. И… добавляет по–английски: «Он — наш!» Слово: Ours! Ours! — он повторяет и повторяет. Машина содрогается от звуков его голоса, и кажется, по улицам–ущельям разносится эхо: Пушкин! Наш! — Чей?

— Ваш? — Наш! — Yours! — Ours! Вы понимаете о чём я говорю? — Не понимаем. Мы в разлуке, с Пушкиным, с домом, мы — беженцы. — Отчего убежали? — Сразу не скажешь. От разного. И даже от соучастия. — Ну, и как удалось скрыться? — От чего-то — да. Кров. Крыша. Стены. Свобода. Деньги. Законы. Защищают от реальности. А от чего-то — нет. — От чего же? — От того, что люди называют

— «от себя» — как это ни тривиально–грустно звучит. Тут такси остановилось, негр улыбнулся, вынул из багажника наши пакеты, попрощался, и нашего Пушкина увёз с собой в улицы–ущелья. А мы пошли по Нью–Йорку смотреть, как выглядит настоящая свобода, и рассуждать, что издалека не предполагалось такого сюрприза с Пушкиным. В один момент

мне даже показалось, что такси с родственником Пушкина следовало за нами. Но это был обман, потому что все такси были жёлтыми, и все управлялись чёрными родственниками Пушкина.

Нью–Йорк. Ошеломляющий, абстрактный, фантастический город, монструозный, многодонный, манящий. Захватывающий. «Клокочущий кипяток в сосуде.» Небоскрёбы стеклянные, совершенные по пропорциям, как гигантские кристаллы… хризобериллов, чёрных турмалинов, яхонтов, голубых сапфиров… дымчатых топазов, изумрудов, продолжаются в облаках. Свет рассеивается и отражается от ювелирно гравированных поверхностей металла, стекла, и эти гиганты окрашиваются в фантастические цвета, «чтобы показать всё не в настоящем виде». Сигрим–билдинг. Крайслер–билдинг… Внезапно лицом к лицу столкнёшься с Небоскрёбом, посмотришь, как разворачивается твоё отражение в его зеркалах, раздваивается, разделяется, умножается, уменьшается и ускользает. И уже сомневаешься — есть ли где-то что-то вместо самого себя? На верхах небоскрёбов чувствуешь себя ближе к небу. Тут пристраиваются тучи и ночуют. Тут можно глотнуть воздуха, замереть и не слышать шума улиц, не ощущать безмолвной суеты. Сверху люди кажутся не тем, чем есть — точками… точками и запятыми. А если взлететь над бездной Нью–Йорка, то небоскрёбы с высоты могут показаться монументами — надгробьями громадного немого кладбища — на некоторых из них читаются эпитафии. Из гиганта Крайслера вылезают химеры и повисают над улицей. Эмпайр — имперский небоскрёб — одно из чудес света — символ Нью–Йорка — телевизионной иглой врезается в небо, чтоб шокировать небожителей. Одобряет ли Всевышний то, что мы тут делаем?

Неожиданно открывается, что отдельные кварталы Нью–Йорка по безликости, нагромождению складов, заплёванности, накиданности железяк, могут соперничать с Агадырскими коробками — и тоже не вызывают никаких ассоциаций с возвышенным. Незапоминающаяся наружность характерна не только для Агадырских построек. Вокзал в Нью–Йорке есть, громадный; глядя на это здание со стороны улицы, трудно догадаться, что это вокзал: классический фасад, над центральной аркой фигуры Меркурия, Геркулеса и Минервы. Главный зал освещают красивые люстры, на подсвеченном потолке — знаки Зодиака. Опускаешь глаза — толпа, вокзальная толкотня, сутолока, суматоха — люди захватили всё пространство. Полное отсутствие вокзала в Агадыре не вызывает ничего, и соответствует твоим ожиданиям.

Агадырь. Пыльный, замызганный, маленький посёлок, непривлекательный, бывшее место ссылки политических,

религиозных, разных национальных меньшинств, выходящих за пределы линии дозволенного. С точки зрения нью— йоркского обитателя увидеть в Агадыре — у шофёра Виктора в машине — портрет Хемингуэя тоже — впечатляющий сюрприз. Хотя некоторые из них, конечно, не узнают своего соотечественника, — Стейнбека в Америке никто не узнавал, когда он путешествовал с Чарли и искал Америку. Но в агадырских местах вряд ли американский турист появится. Но… не скажите, за последнее время — тут открыли нефть, золото и множество редких металлов. А увидеть в Агадыре на обеденном столе фарфоровый саксонский сервиз? А? В доме шофёра Ганса — из поволжских сосланных немцев — семья обедает, будто в старинном замке — за сервированным столом.

Прозрачные, изящной формы тарелки, супницы, салатницы, украшенные живописью, соединённой с позолотой, стоят на столе. Выбеленное до блеска чистое пространство, увешанное гобеленами со сценами из средневековой жизни — я их обожаю. «Всё чин–чинарём, как в капиталистическом мире, — произносит шофёр Виктор, — воспитание у них такое, вот только Гитлер им всё подпортил». И что про всё это подумать? — Думать уже нечего — они сейчас покинули то место.

Вокруг Агадыря степь на сотни километров. В агадырской степи верхом на лошади — ближе к горизонту, с которым никак не слиться, можно тоже глотнуть сухого воздуха, поднести к губам уздечку, слушать как поёт дыхание лошади и мчаться, мчаться… к горизонту. На горизонте люди тоже кажутся точками. И нет границы осязания — везде ты наедине с воздухом. И там и там страх бесконечности. Только пейзаж другой.

После долгого скитания по степи, едешь–едешь — безлюдье, нет границ. И вот на линии горизонта покажутся точки огней Агадыря, смешавшиеся с горизонтом, — от них не отрываешь взгляда. И вдруг из ничего на горизонте возникает призрачный замок. Подступает лёгкий холодок, волнение, будто собираешься выходить из долгоплавающего корабля на землю. И с этого расстояния Агадырь становится ещё какой для тебя Столицей мира! И вот уже огни рассыпаются вдоль линии горизонта, и через несколько мгновений обступают тебя, и горизонта уже не видно. Экспедиционная гостиница — пятизвёздочный отель — нью–йоркский отель «Плаза», фешенебельный «Маркиз». Тут можно напиться холодной воды из жестяной кружки, привязанной на цепи, уснуть на нормальной железной кровати, посмотреть в книгу… и вдруг насладиться тем, что значит свет электрической лампочки. Какие там голые стены в столовой, без зеркал, картин, пятнисто–засаленые занавески — (салфеток нет — занавески их

заменяют) и пыль, и сараюхи, и клозеты — неважно, настолько неважно. Всё проходит через чистилище твоей сетчатки, по касательной твоего сознания. Этого нет… Этого не было… Есть только твои эмоции: кто встретился? как тебе кивнули? что тебе сказали… Сердце взлетает, опускается — я хочу, чтобы меня полюбили… Только это и есть… Только внутри.

Реальность, как говорят философы, отражает твоё психологическое состояние, и, сравнивая нью–йоркский фешенебельный отель «Маркиз», его 37–этажный атриум с льющимся сверху светом, ресторан с вращающимся полом, фасад с многоцветными рекламными панно и экспедиционную голую гостиницу в Агадыре — можно ли представить более ошеломительные различия?! — приходится признать твоё психологическое состояние странным — единственная точка пересечения, что и там, и там ты была. Но где ты была? В своём воображении, в своей версии мира, Агадыря, маркиза?

От сияния степи и лиловости дорог в агадырской степи останавливаешься и замираешь — прислушиваешься к молчанию вечности. До горизонта тут ни возвышенностей, ни утёсов, а в небе ни единого облачка. Один на один со степным бесконечным воздухом. Теней нет. В Нью–Йорке замираешь от стоэтажных стен, надвигающихся на тебя, и прислушиваешься к грохоту… И до горизонта — одни каменные стены — человеческие постройки. Тут один на один с человечеством. И там и там — несоответствие тебя и пейзажа. Где страшнее?

В Агадыре нет движения, тишина бездорожья, нет нагромождения небоскрёбов, Ролс–Ройсов и Лимузинов не попадается, но есть Бобики и лошади. А в Нью–Йорке не найдёшь таких дорог, чтоб машину скрывало в ухабах вместе со всеми обитателями, не увидишь, как колдуют над починками. Не услышишь: «Джон, подсасывай бензин!» В агадырских ухабах, ямах можно долго сидеть и размышлять о дорожных несовершенствах, как загадках жизни… Нью–йоркские дороги гладкие, как внутренняя тоска, — нет времени для размышлений, и несёшься без оглядки в воздушные ущелья. Здесь всё несётся с бешеной скоростью. Движется, движется, движется день и ночь. Политика, мода, мнения, деньги. «Некогда остановиться и понюхать розы» — так говорят некоторые нью–йоркцы. И зачем их нюхать? Нужно успеть всё рассчитать. Акции, фонды, проценты. Включаешься в это непривычное движение. И гонишься за всем несущимся так, что тень отрывается от тебя и бежит отдельно, и даже становится больше тебя. И мысли не успевают за бегущей тенью и превращаются тоже в тень. И кругом — тени — и твоя тоже. Хочется добавить, что это только метафора.

Агадырь кем только не населён! Русскими, немцами, чеченцами, корейцами, евреями, казахами, украинцами… Какого только народа тут не было! Мириады лиц, биографий. Все национальности имели здесь своих представителей. Ну, чем не Нью–Йорк?! Вся многоцветность мира. Нью–Йорк перешибает, правда, по общей многочисленности, плотности населения в воздухе и по количеству разноцветного населения. Сплошного народа нет, конечно, ни там, ни тут, везде целый спектр характеров, личностей, встречающихся в любых условиях, партиях, ассоциациях. Среди них кого только нет.

Как и в Нью–Йорке, в Агадыре множество свободных художников — искателей приключений — бичей, которые странствуют по свету в поисках свободы и заработка. Многие из них укрывались от повинностей, другие просто слонялись по свету. Анархисты, отщепенцы, просто прожектёры, болтуны, ханыги, вымогатели, бахвалы — им почти нечего было терять… разве что человеческий облик. И они теряли. Они нигде не существовали, они были сами себе неизвестны и обычно себя постоянно забывали. Был ли это рабочий класс? «Гегемон революции», на которых опирались наши классики марксизма? Если бы господин Маркс повертелся бы среди наших работяг «в бытовухе», что бы он тогда сказал про сознание? Что его определяет? Для многих из них реальность утратила смысл, и сохранялась только способность о ней разговаривать: «Людям не нужно знать правду, — она у них внутри, они сами её знают,” — так рассуждали в нашем Агадыре. Но где-то есть правда никому недоступная… И говорят… и говорят…

В то же время тут у людей, живущих в беспросветном невежестве, вдруг может встретиться психологическая одарённость, стремление к прекрасному и невероятная этическая чувствительность. Как это возможно, и как уживаются жизненные стремления с окостенелостью? Я не могу понять, а может, и не нужно понимать. Тут можно было услышать и бессмысленные, бредовые рассуждения, и вдруг мысли и слова, достойные мудрецов.

Как-то стены и люди на геологической кухне слушали, как повар Юрка бойко рассказывал о своей возлюбленной, как он был сражён её эффектной внешностью, и как… и что… Шофёр дядя Вася, вовлечённый вместе со всеми в юркины любовные излияния, вдруг спрашивает: «Юрка, неужто у тебя есть чем любить-то?» — Юрка многозначительно хихикнул. — «Глупый ты, я о сердце говорю, а не о плоти… Суть любви душою понимать надо», — укоризненно и серьёзно сказал дядя Вася. Но где аудитория? Где магнитофоны! На фоне пустых эротических кривляний — такое

проникновение (возможно ли?) в суть любви — «чувствовать душою». И как не удивиться несовпадению мест с людьми.

Вот буровой мастер Шмага, считавшийся первым остряком Агадыря, создатель присказок, шуток, о еде, о политике, о чём угодно, вместо тоги, облачённый в перекроенный спальный мешок, стоит как древнегреческий циник, окружённый поклонниками, ротразинув–шими от его слов, на буровой вышке, как на мраморных ступенях Форума, и посмеивается над всем миром. «У них есть карта, а у меня — голова», — подшучивал он над геологами. «Как стемнеет — будем брать». «У нас — не забалуешься «…И долго потом рабочие и буровики повторяют его высказывания, но не обладая мастерством Шмаги, затирают их до банальностей. «Родился — по собственному желанию, умер — по сокращению штатов…» Редкий гость — человек с мозгами, мог тут случайно затесаться, а вот «голов» вместе с «картами» — за скобками, — знаний соединённых с мыслями — попробуй отыщи. А на нью–йоркской стороне, где всё твёрже и жёстче требует соединения, часто ли оно отыскивается?

Биш–бармачить, пить чай, кумыс у гостеприимного казаха Жумаша, юрта которого стояла недалеко от нашего лагеря, для нас было путешествием в каменный век. В самой юрте есть какой-то родовой, племенной дух, исчезающий повсюду, — очаг посредине, свет откуда-то сверху, кошма из овечьей шерсти, запах… животные, кумыс. Жумаш принимал геологов по–восточному — «Шолом Алейхем, Разведка! — Большой золото ищите. Мын — хозяин страна. Жаксы (хорошо). Мын траба не едим, жарата биш–бармак». Он восседал на ковре и дальше своего места, казалось, никогда не двигался. — Жена и дочка вокруг него крутились. Был он кем-то вроде старейшины среди окрестных казахов, и время от времени к нему наезжали местные джигиты. Что они обсуждали? Мы знать не могли. Наши шофера и рабочие «калымили» у Жумаша (он их нанимал за деньги) — перевозили, подносили, строили… В свою очередь через него геологи покупали баранов, что было тогда большой услугой в скотоводческой стране — где все бараны были куда-то приписаны, их всё время какие-то коммиссии пересчитывали, и приобрести барана было практически невозможно. Но Жумаша как–будто всё это не касалось, вся советская власть была где-то, а он себе жил и жил независимо, по–философски, и барана мог для нас достать. «Биш–Бармак — жаксы (хорошо), вода — хорошо, небо — хорошо… — говорил он. — Ай, Ай…я..й. й! Ты — нервный, дикий лошадь — жаман — не хорошо».

Раз, я зашла к нему в юрту одна — брала воду на анализ из его источника. Жена Жумаша хлопотала около самовара. Старик

восседал на ковре, как обычно, поджав под себя ноги, и курил трубку. Жестом он пригласил меня присаживаться: «Шолом–Алейхем, кызымка!» Я присела напротив него, но было неловко под праотцовской остротой его взгляда. Подали пиалу с чаем. Я похвалила чай и принялась его отхлёбывать. Жумаш несколько минут с любопытством меня рассматривал, и вдруг спрашивает: «Кызымка, у тебя жених есть?» — «Нет». И самой как-то неловко, что нет у меня жениха, — по взглядам восточного человека давно пора иметь и мужа и детей, а у меня… и ответной любви нет. «А джигит с бородой?» — слышу лукавый голос. Будто пуля пролетела мимо меня, и я опешила. В это время в юрту заглянул баран и, выпучив глаза, стал смотреть «как баран» на меня, а я на него, ещё отуплённей. Свою любовь я хранила молча. — Никому не признавалась. Скрывала, что «джигит с бородой» — моя боль.

Смотрю в чай и рассматриваю движение чаинок. Говорить ничего не могу. В юрте слышно только сопение барана. Жумаш, после наставлений барану и жене, снова обращается ко мне: «Мын любовь знаю по взгляду — как смотрят». Слова «по взгляду» повисают где-то на луче, проникающем через щелочку из-под купола юрты. По взгляду… По лучу… узнаётся любовь. Старик, издавая глотающие звуки, причмокивает: «Кызымка, будет жених, жаксы (хорошо)… Тот с бородой». Выхожу из юрты медленным шагом: До свидания! Хош! Хош! Распахиваю занавеску из бамбуковых стеблей, закрывавшую вход в юрту, от прикосновения шторы позвякивают точно сере— брянные: та… та… та. Выхожу в степь. И во всём движущемся — в стаде, в источнике, в шелесте ковыля будто слышу эхо слов старика: Будет жених… Будет любовь… Джигит с бородой… Жаксы.

А люди слепы на любовь! Наши умники — до самой моей свадьбы понятия не имели о моей любви, на лбу написанной. Геофизические приборы могли улавливать тончайшие аномалии радиации, гравитации, сейсмики, невероятные проникновения в глубины земли, в тайны залегания слоев, а антенн, улавливающих человеческие отношения, не было. Любовь от взгляда, не от прикосновений, как распознать? Может, в будущем придумают улавливатели любви, боли, вранья, глупости, предательства…? И тогда не будет никаких сюрпризов и тайн? Они останутся только в диких степях.

Похоже, что в процентном отношении на агадырскую душу доморощенных философов тут больше, чем в Нью— йоркских предместьях. Это одно из свойств бесконечной земли, связанное с национальным характером — рассуждениями, поисками… исканиями… ленью… Тут не делают вещи и не ищут доллары, а только выращивают отношения. Правда, в Нью–Йорк за последнее

время со всего мира нахлынули желающие пофилософствовать, — но в отличие от нашего захолустья, тут искателей–попрошаек обеспечивают социальными суммами для пропитания, чтобы отстали от привычного и не философствовали. Однако из приехавших многие ещё долго продолжают мечтать, рассуждать, хвастать, сохраняют форс, потому что, оказавшись не в своей среде, человек всяческими способами хочет скрыть недовольство собою. И сам себе хочет доказать реальность своего существования.

Попадались в Агадыре и аристократы, если считать не титулы, а любовь к бесполезному за аристократический признак. Подобных аристократов, конечно, в Нью–Йорке несравненно больше, хотя подсчёт их наличия зависит от того, что считать бесполезным. Обращения: «маркиз», «барон», «граф» можно было услышать в Агадыре, но относились они к лошадям, собакам, котам. Идея равенства всех взбудоражила, дворян вывели под корень, но таинственная необычность в именах ещё чудится. Въезжая в Америку, как известно, нужно отказываться от своих титулов, но наши русские аристократы хранят свои наименования. Есть дворянское общество, которое до этого года возглавлялось князем Щербатовым, но после того как он женился на простолюдинке молодой журналистке Ларисе, его отстранили. Князь был блистательный, изыскано–породистый, во всей его наружности было написано — князь. И в его присутствии чувствствовалось, что не все люди — люди. В отеле «Плаза», построенном перед приездом в Нью–Йорк английского короля Якова IV, с мансардами похожими на башни замков Лауры, раз в году проводится дворянский бал, где можно встретить оставшихся представителей знатных родов и даже царских родственников. На бал все должны являться в вечерних нарядах и в полной красоте. Не буду описывать сколько времени я потратила на выбор наряда, как металась по Нью–Йорку в поисках замены забытых украшений, как мужу специально выбирали блестящий вороний смокинг, чтобы скрасить его еврейское происхождение. И вот мы на балу. Вошли в освещённый большой зал. Кресла обиты гранатовым бархатом, столы покрыты зелёным шёлком. Люстры, колонны, дамы со своими фантазиями. Причёски… Поклоны… Кое–какие остатки придворных обычаев — реверансы, улыбки, манеры, хотя не все так любезны, как требует этикет — не отвечают на улыбки улыбками — видимо, самозванцы, но всё равно атмосфера светская.

На первом балу нас, уж не знаю почему, наверно, кого-то хотели обидеть, усадили за один стол с Никитой Романовым. Ну,

думаю, раз такая честь выпала, то посмотрю на царское величие, обращение, буду как можно любезнее, поговорю. Увы, потенциальный наследник престола, хотя до него «дело» вряд ли дойдёт, да и престол упразднили, на вид был, как выражаются в народе, — «из себя весь не видный» — ни царственной осанки, ни величия жестов, ни улыбки. Кроме безумной скуки на его лице, не покидающей его даже, когда к нему обращалась его жена, немецкая принцесса, ничего нельзя было распознать. На реверансы, приветствия аристократов, заискивания окружающих он отвечал безразличным видом. Ни одобрения, ни удивления — ничего — будто никого не видит и ничего его не касается. Как часто имена не связаны с их личностями. Я уже встречалась в Вашингтоне с ещё более дальними наследниками престола — грузинскими князьями Чавчавадзе — и тоже имена звучали загадочнее, чем их носители. Может, лучше выбирать царей? Из кого? Вы ищите справедливость? «…Но нет её и выше». Дайте-ка, моим агадырским героям — дяде Васе, буровому мастеру Шмаге, шофёру Виктору фраки, сшитые Версачи, да пристегните им бабочку от Доны Каран, да надушите духами Картье, то многих на балу присутствующих они за пояс заткнут. И никто не распознает, что они не графы. Всё же происходит наоборот. Может перед блеском, образованностью, аристократизмом князя Щербатова или княгини Урусовой агадырские чуть померкнут, но я подозреваю, что не только они одни.

Всё перемешалось, растворилось в массах, и всё меньше и меньше остаётся дворянских представителей, князей, принцесс, аристократов. Идеи всеобщего равенства я не разделяю и, можно сказать, имею имперские симпатии, но это только абстрактно, а конкретно — благородство мыслей и духа может попасться у самых неожиданных людей и в самых удивительных местах. Как говорится, «дух живёт, где хочет».

От замысловатых реклам в Нью–Йорке, развешанных в самых неожиданных местах, можно обалдеть. В Агадыре тоже на штакетных заборах висят лозунги, плакаты, всемирные призывы, забористые слова, но тут никому в голову не придёт их читать, или, к примеру, повесить около дома флаг или портрет вождя, по собственной воле. Всерьёз тут ничему не верили ни газетам, ни радио, ни лозунгам, ни рекламам, ни тебе. Советское правление тут принималась естественным образом — его не боялись, как в метрополиях, относились к флагам, демонстрациям, призывам как к данности, и часто с иронией и цинизмом. Наивными тут были только «динозавры». Было время, когда на весь Агадырь вещал говорящий громкоговоритель с однообразным звуком, но один из приехавших геологов забрался на крышу и отрезал все

провода. Никто ни из начальства, ни из слушателей не спохватился, что нет всеобщего вещания, все привыкли — не слушать, что там говорят. Весь Агадырь смеялся над Лениным, которого на демонстрации изображал пьяный Колька — слесарь с электростанции. «В поддаче Колька был, вот и забрался на грузовик — чуть не сшибли этот серый броневик — трезвый бы он на такое не пошёл, — говорили агадырские люди. — Здорово шапкой махал, сожмёт её в руке и в небо как ё…нет, — смеху было, для сходства Колька голову побрил, усы с бородкой навесил… и глаза прищуривал… Умора. «Центр» уже тогда «не держал».

В «лабиринте сердца Америки» — Нью–Йорке бросается в глаза, что ни вера, ни идея так не разъединяют (или объединяют) людей как деньги. Человек без денег живёт в одних районах, с некоторыми деньгами — в других, со средними деньгами — в третьих, с большими — в слегка спрятанных, с очень большими — в хорошо спрятанных — жизненное пространство тут иерархично. По адресу можно вполне определить доход и положение человека. В Агадыре нет между людьми такого распределения жилья по доходам, нет таких непреодолимых преград в виде богатств, да и спрятаться некуда, и все живут рядом, демократично. Никакой стеной тут не отгородиться, потому что все объединены одной цепью — целью (как раньше говорилось). Тут были иерархии, даже более изощрённые, но не по адресам. За неимением больших денег больше оттенялись «чистые» качества, можно сказать «идеи» — способности и достоинства — быть более или менее приличным, не пить, не хулиганить, шутить. Непьющий мужчина — на вес золота, это был тут капитал настоящий. Если же попадался непьющий шофер, — то за ним гонялись так, как в Нью–Йорке за специалистом, знающим тайны биржевых вкладов и выкладов, и тоже переманивали из одной фирмы в другую. Но думается, что всё-таки непьющий агадырский шофёр ценился подороже, потому как реже отыскивался.

Конечно, пятая стихия — деньги тоже бушевала в Агадыре — проносящимися смерчами. На ветер пускались деньги, и каким-то мистическим образом они навсегда исчезали, неизвестно куда, не оставляя никаких следов ни в виде домов, ни в виде накоплений. Тут были работяги, которые трудились целый сезон, не разгибая шеи, а потом спускали весь заработок в два, три дня. Кутить — так уж кутить. Такому свободному обращению с деньгами, пущенными на все четыре стороны, позавидует любой нью–йоркский плейбой! Можно предположить, что в Агадыре больше «свободного хотения» — «по глупой воле пожить». Здесь так проявлялась личность — делать то, что приходит в голову. В

Нью–Йорке работают на себя с какой-то разумной целью, добыть доллары — а в Агадыре работа в большинстве более бессмысленная, малооплачиваемая, вынужденная и потому менее ценная. Канавы, шурфы часто не рылись, ничего в них не добывалось, «подновлялись» и подкрашивались старые, в геологические описания прибавлялась щебёнка, камни, — всё затуманивалось, приписывались часы, — на всех уровнях шёл обман врага — государства — думаю, и сейчас идёт.

Правда, наезжали сюда и разумные люди — рабочие с Кавказа, дагестанцы, осетины, черкесы целыми семьями, они строили дома, школы и хотели заработать деньги, репутация у них была хорошая, и все геологические отряды хотели их заполучить. У нас работал красивый осетин Мурат. Он вёл себя самым достойным образом, без пошлости и слащавости. Его поведение и весь образ совершенно не совпадали со стереотипом грузин, торгующих на рынке. Мне и другим геологам Мурат оказывал маленькие услуги, подтягивал палатку, подносил тяжёлый рюкзак, смастерил для моего пёсика тапочки, чтобы тот бегал по горячим диабазам… В один из дней я и он долго ждали машину. Он был как-то заметно грустен. Казалось, что он ищет повода поговорить со мной, — наверно, что-нибудь неправильное в нарядах? А может, что-то дома случилось? Накануне привозили почту. «А вы по дому тоскуете?» — вдруг спросил он меня. «Не очень, знаю, что со временем там буду». — Ответила я. «А я вот думаю, что у нас сейчас виноград собирают», — сказал Мурат и, помолчав, показал мне вдаль, где возвышался гранитный останец. — «Вон какой орёл сидит на камне. Смотрит одним глазом». Я обернулась, разглядела орла— могильника, сидевшего на острие останца, силуэт которого производил внушительное впечатление, и услышала приглушённый голос Мурата: «У меня брат был. Орёл. Ахметом звали. Потерял разум от любви и ревности. Убил жену–красавицу и её полюбовника. Его к расстрелу приговорили. Кинжалы в нашем ауле джигиты всегда носили, но прокурор показал, что брат намеренно их выследил. Они на берегу Куры сидели. Он подошёл сзади. Они его не видели. Осталось четверо детей сиротами. Перед смертью Ахмет просил у всех прощения. Меня умолял не бросать детей: «Бог тебе за них всё простит и заплатит». Я обещал вырастить. И вот уже пятый год его дети в моей семье. Я его часто во сне вижу». Мурат задумался и потом сказал: «Может, его на «химию» отправили? И он ещё жив?» В те времена существовала легенда, что приговорённых к смерти отправляют на урановые рудники. Но я не знаю было это или не было? Хотя пределов обнажения человеческой природы нет — ни в ту, ни в другую сторону. Ни в сторону любви, ни в сторону

ненависти. В каких отношениях безумная ревность с любвью? Или точнее, какие отношения между любовью и обладанием? Любил ли Орёл Красавицу? Или в нём говорил магометанский закон: изменила — надо убить? Бессознательно, по–орлиному, расправился со своей любовью. В кровь и плоть наследственно вошли «орлиные» свойства. И сколько нужно времени и сил, чтобы оторваться от этих свойств, чтобы «затушить в себе потребность самовластия». Сознательное, хрупкое ощущение себя только–только народилось, а миллионами лет на земле владело орлино–бессознательное (так считают учёные, изучающие модели поведения людей).

По эту сторону океана, когда молодая симпатичная женщина топит своих детей из-за любви к мужчине, (он не хотел чужих детей) что захватывает её? Почему «орлиные» порывы пересиливают в ней все другие? Реакция на отчуждение и одиночество? Она выросла не в диком бедном крае, не в Агадыре, где могут убить из-за бутылки кефира, или портянки как в «Мёртвом доме», а в совершенно других практических условиях, в цивилизованной атмосфере с протестантской моралью. Эта женщина не может нарушить правила морали на публике — «бросить» детей на мужа, а без публики, внутри, в подполье — стихийное, безобразное, страшное, беспредельное. Там хаос. А вот молодая американская учительница, подговорившая своего возлюбленного— ученика убить её мужа, — тоже не может «позориться» (развестись) перед обществом. У них с мужем даже делить нечего: ни детей, ни денег. Сила чего? Сомнений, волнений? Что внутри? — Холодное, злое, ядовитое. А что снаружи? — Благообразное, вежливое, приятное. Что это? Способность мимикрировать, притворяться — на людях, произносить, защищать справедливость, стоять за правду, осуждать других? Человек это может как никакое другое животное. Но здесь ещё и другое — как сказал поэт, «полный провал» в сознании. Что в детстве запрещали — нарушать общепринятое на виду — это в сознании, а рядом — провал, в словах не сказано, — это в бессознательном. А как поразительна знаменитая история с Лизой Бёрден, которая убила отца и мачеху из-за наследства, но была оправдана протестантской общиной своего поселения — «Разумеется, среди нас не может быть плохих; раз Лиза говорит, что не убивала, значит, этого не было», (она ведь не врёт, что купила яд, что точила топор…) Эти бесчисленные американские истории из серии: «Плоды воспитания» с эпиграфом: «Соврать не может, а убить может». Поединки страстей и морали, в которых побеждают перепутанные зависимости нравственных оценок, и выбор: убийство. Понятие

«выбор» тут, наверно, неправильное слово — если окна сознания полностью закрыты, то в кромешной темноте ничего не видно, идёшь на ощупь и проваливаешься в первую яму, без всякого выбора. Ведь если сохраняется рассудок, то нельзя же выбрать для себя провал, бессмыслицу? Хотя кто знает? Может быть русским это трудно понять, потому что в Россини не было Протестанства, возложившего на человека непосильную ответственнось идеала? Ведь «русский может быть святым, но не может быть честным» — по словам русского философа. Как не раскидывай, и с компьютером и без, столько ещё загадочных вопросов про поведение людей. И в агадырской пустыне и в непустынных нью–йоркских лесах жизнь изощрённей и утончённей, чем кажется с первого взгляда, и лесной человек тут ничуть не лучше, чем пустынный.

И хотя деньги — как известно, один из главных правителей мира, и под защитой денег происходит и соединение и разъединение людей, — но вдруг подумаешь, что далеко не всё определяется материальным опытом, сколько ещё «правителей» в мире, и какие между ними сражения! И внутри и вовне. С одной стороны, «разум и совесть» и с другой — «психология и натура». И… «жизнь как езда на велосипеде, — не помню кто это сказал, — качнёшься в одну сторону — упадёшь, качнёшься в другую тоже».

В Агадыре, как и в отдельных кварталах Нью–Йорка, вечерами ходить небезопасно. Агадырь в миллион раз меньше, но во сколько раз он страшнее? Не знаю, можно ли определить единицу страха? Хотя в агадырских владеньях часто не денег от тебя добиваются с кулаками, а просто так — не нравится, что на дороге попался. Раздражает непривычный вид, чужой, другой, опасный, не свой. Выйдя за границу геологически–официального пространства, ты сразу делаешься мишенью всевозможных фантазий. Тут ни с того ни с сего могут запустить в тебя камнем, не считаясь ни со свой, ни с чужой жизнью. Не только наплевать на деньги, но и на человека, — понятия, что собственная жизнь и жизнь другого — уникальна, священна — в общем сознании не водятся. Демократической традиции уважения индивидуума тут нет и в помине. Это такое отличие между моими «поселениями» — что над их сопоставлениями, конечно, можно только посмеяться. Я и сама чувствую нелепость моих сравнений. И географически и метафизически.

— И почему же ты всё-таки продолжаешь? Хочешь отрешиться от бытия, определяющего сознание? — иронично спросит мой оппонент. — Или пытаешься постигнуть: как всё-таки возникает последнее? Не слишком ли парадоксальны рассуждения?

Кажется, меня занесло дальше цели моих первоначальных замыслов, да я их полностью и не осознаю.

И в Нью–Йорке есть своя разнообразная шпана: помимо всегда–бессмысленной, тут водится и более цивилизованная и целенаправленная, но тоже может прирезать. Здесь больше возможностей для воображения, потому и хулиганство и жульничество более изощрённое. В Агадыре воры незначительней — украдут бутылку водки, три рубля… буханку, — негде развернуться. В нью— йоркских предместьях оперируют другими масштабами: банки, кредитные карты, машины, миллионы — воровство настоящее, похищения приличные. В Нью–Йорке каждый имеет какой-то внушительный вид, на работу ходят в костюмах за пятьсот долларов с галстуками, и ты теряешься, кто есть кто, и не знаешь от кого чего ожидать — кто продаст? и кто купит? Лица часто лишены индивидуальности, все на одно лицо. Идут такие представительные господа, а они способны на многое из-за наследств, страховок, могут жён своих прикончить и соседей, если под руку попадутся. Да, и дамы не отстают от мужчин, как я уже говорила, тут возможны такие ужасы, на мой взгляд ничуть не уступающие «нашим мужикам»: Раскольникову, Смердякову… «Преступление и наказание» — для нью–йоркских людей тоже понятная книга. Если взглянуть в телевизор, то обнажится такой поток преступлений, что можно решить, что грабят почти все. И почему? Есть какая-то непостижимая причина? Тут труднее определить по внешнему виду грабителя, насильника, обманщика. Начинаешь не верить в связь между внешностью человека и его поступками. Для распознания изысканных обманщиков нужны тончайшие приборы — улавливатели, но неизвестно когда их изобретут, потому как вряд ли конгресс в ближайшем будущем одобрит деньги на подобные изобретения. В Агадыре есть преимущество — не обманешься внешним видом — там страсти на лицах полностью написаны, только умей читать, — и не пойдёшь на свидание с неопознанным. Внешняя наглость не всегда соответствует внутренней и наоборот. Может, это абсурдно?

Многие из агадырчан не знают про другую жизнь, чем та, которой они живут, и даже знать не хотят, думая, что всё на земле одинаково–однообразно. В Нью–Йорке так всего предостаточно, и многие ньюйоркцы тоже никакого понятия не имеют про другие жизни и страны. Про Россию услышало американское население, когда запустили спутник, про Вьетнам, когда стали воевать… Зависит ли неудивление и нелюбопытство от материальной нищеты? Или духовная нищета зависит от места? Так и живу в недоумении. Что же определяет сознание

помимо бытия?

По весне в Агадырь наезжают геологи и сразу начинают беспокоиться: где найти хорошего повара на сезон? В Нью–Йорке тоже каждый день людей, волнует тот же вопрос: где хорошо поужинать вечером? Но радость, доставленная биш–бармаком, приготовленным на углях в степном воздухе, когда испытываешь «архетипное» наслаждение от происходящей трапезы, может ли соперничать со всеми кухнями бессолевой диеты? Биш— бармак, пожалуй, выигрывает. Конечно, в Нью–Йорке за Деньги (с большой буквы) тебе и пустыню могут организовать со всеми вытекающими бишбармаками, но… Надо ли говорить, что в Нью–Йорке «главный напиток» — кока–кола, и я ею увлекаюсь (попробовала первый раз по приезде в Америку), она помогает пищеварению, а степной кумыс излечивает дыхание. Удавалось ли вам пить кумыс, ударяющий в голову, как потустороннее шампанское? До сих пор вкус его кружит сознание. Кому ни скажу, — никто не верит, что напившись кумыса, искусно приготовленного из молока степной кобылицы до образования янтарной кислоты в бродящем напитке, можно «улететь в астрал». — Раствориться в невесомости и не чувствовать человеческой реальности. И не нужно курить галюциногенную смесь или поглощать какую-либо гадость. Почему ещё не приспособили «астральщики» такой полезный напиток для выходов за пределы сознания?! Может потому, что улетающий напиток совсем не просто приготовить. Кобыла должна питаться не только шёлковым ковылём, вобравшим в себя прямые солнечные лучи, и гулять на свободе без узды, но чтобы и почва под ковылём была свободная, чтоб дышала вечностью и чтоб лежала на докембрийском фундаменте бывших океанических пространств. Докембрийский фундамент в Нью–Йорке есть — обнажается прямо на Пятой авеню, в Центральном парке, есть и древняя океаническая поверхность, есть и лошади, стоят прямо у парка, но тут их водят под уздцы — они зарабатывают деньги — возят по улицам кибитки с туристами. В Агадырь туристов не возят, но в них ли дело? В Нью–Йорке есть всё, и столько кочевников, однако, нет кумыса и никаких памятников древности, (если не считать возникновение отдельных обычаев) а в Агадыре есть: древние валы и курганы. Посреди степи на холмиках стоят камни необтёсанные, угловатые, один на другом, такие первобытные колонны, прибитые неизвестно чем, символизирующие древние захоронения. Один холмик при нас раскопали, он оказался в центре разработки серебряной аномалии, — каких только мы не строили догадок! — клад серебряной утвари, кольца, серьги… В разрытом кургане оказался только голый женский череп с

остатками бусинок и тоненьким железным ободком — хотели любому желающему подарить, но никто не позарился. Больше никакие курганы мы не разрывали — пусть остаются с тайнами. В Нью–Йорке тоже лучше разрывать не курганы, а свои способности, и совсем замечательно обнаружить в себе присутствие индейской крови, хотя бы капельки. Капля крови может отразиться вселенной монет — тебе разрешат построить казино. Легендарные туземцы так научились одушевлять монеты, что почти все резервации Апачей, Херачей покрылись движущимися, звенящими потоками денежных рек. Если бы вдруг тут очутился античный человек, то что бы он мог подумать про нью— йоркские пейзажи? Кто это там? Варвары? Инопланетяне? А в степи может встретиться всадник.

Без узды в Агадыре гуляют не только лошади, но и собаки — бегают на свободе, — голодные, ободранные, сексуальные — компаниями, гаремами. В Нью–Йорке всё собачее население на коротких поводках, обузданное — сытое–пресытое, холёное, асексуальное — то есть почти все — сторожа гаремов. И если собак спросить: где им больше нравится? Они нам не ответят.

В Агадыре и его предместьях, в казахских юртах, есть ещё один напиток, не встречающийся в Нью–Йорке, по крайней мере в общественных заведениях, — это чай. Агадырский чай готовится из родниковой воды, в самоварах, на углях саксаула, паром, с нежным томлением, под ватным покрывалом, — в результате — глубокий, цвета прозрачного шоколада, будоражащий напиток. Наслаждаешься нежным касанием этой жидкости, проникающей в тебя. Если же в этот чай добавить сливки, то тогда он несёт не только вкус и очищение, но и энергию, и тогда не нужен ни обед, ни ужин, — только объятия. Где же испить такого чаю?

Желание соблюдать тайну друг от друга, секреты от всех, родителей, окружающих появляется где-то в детстве, и потом используется любой повод, чтобы прикоснуться к таинственному. Самое загадочное, что тайны существуют. И повзрослев, стремление к загадочности, к избранности принимает разнообразные формы: от братств, орденов, секретных обществ, масонов, партий с тайными знаками, ритуалами от секретных оккультных сект до клубов «любителей кошек с голубыми глазами». Церемонии вступления в общества объяты таинственностью, посвящённые (особенно в отдельные студенческие братства) должны полежать в гробу, выпить крови из черепа по имени Йорик, обнять скелет в шкафу… и затем стать членами обществ с такими чарующими названиями:

«Череп и Кости», «Орден рубиновой розы и Золотого креста», но есть названия и понейтральней. Ощущение элитарности

придаёт жизни своеобразную прелесть, и часто становится смыслом существования. В Нью–Йорке каких только нет избранных, объединяющихся в закрытые частные клубы, любителей не только кошек, собак, лошадей, но и людей. Благотворительные, поощрительные, развлекательные. Отдельные клубы окутаны тайной, иные из них таинственней других. Что там делают? Прежде всего на фоне демократического равенства ощущают себя не такими как все, богаче, умнее, избранее, загадочнее, играют в игры, карты, выпивают, курят сигары, беседуют, кушают. Кто-нибудь говорит что-нибудь интересное на таких ужинах? В эти избранные клубы на беседы и кушанья без рекомендаций и огромных денег не попасть, в отдельные из них даже женщин не допускают — мужчины ещё пытаются отстаивать островки независимости, катастрофически исчезающие от феминистических волн. Помещения некоторых клубов иногда сдаются под свадебные церемонии. Так, в венецианском дворце мавританского стиля «Кадора», скопированном из Италии и перевезённым в центр Бруклина, был и есть закрытый клуб — только для мужчин. Оригинал этого дворца на Большом канале Венеции, построенный венецианским купцом, одно время принадлежал князю Трубецкому, подарившему его своей возлюбленной; она дворец перестроила и перекроила так, что правительство Италии боясь, что от дворца мало что останется, откупило дворец и устроило там музей. Подражая своему европейскому варианту, нью–йоркская копия дворца тоже подверглась нападкам его владельцев. Нижние барельефы мозаики залепили какими-то плакатами, недоступными разумению, чудовищными трафаретными тропическими картинами, на деревянных панелях разместили несметное количество портретов, не отличающихся один от другого, ни выражением, ни одеждой, — видно, членов клубного правительства. Первоначальный вкус, правда, ещё сохраняется на потолках, мраморных лестницах и канделябрах — трудно что-либо развесить на потолке, хотя со временем, может, и исхитрятся. Незатронутыми оставались и зеркала в золотых рамах с барельефами. Нам удалось побывать в этом дворце на свадьбе Данички (отец невесты член этого клуба.) Для свадьбы дворец был украшен цветами; белые живые лилии, сплетённые с воздушным техасским мохом, свисали по стенам, букеты солнечных роз целовались с висящими амурчиками, сглаживали и скрывали варварские вмешательства, однако морды тигров, гусей, висевших вниз головой и носы людей всё-таки высовывались из-под свадебных декораций. Большей частью таинственные предметы при ближайшем знакомстве превращаются в маленькие

и скучные. В детстве читала, что далеко в море жили красавицы–сирены, но если человек схватит одну из них и повлечёт на берег, то не увидит красавицы, а увидит лишь скользкое чудо — морскую медузу; было бы лучше, наоборот, медуз превращать в принцесс.

И в Агадыре есть тайные общества, неофициальные — религиозные братства, вступить в них можно тоже только избранным, — тем, кто ищет истину. Молоденькая дочка нашей поварихи Лиды к одному из них принадлежала. Лида исканий дочери не одобряла, всячески хотела извлечь дочку из поисков, она боялась за девочку и привлекала нас, геологов, на помощь. «Посмотрите и послушайте, что они там делают? Не опасно ли? Ведь за это пение в тюрьму сажают. А моя Верочка повадилась ходить на эти собрания», — сожалела Лида, пытавшаяся защитить дочку от социальной реальности. Одним вечером она, договорившись со сторожем, тихонько провела нас на собрание этого общества. Мы вошли в помещение сарайного типа, убранное ветками то ли калины, то ли кротебуса, с рядами скамеек и столом, покрытым вышитой скатертью. Человек тридцать или сорок сидели на скамейках, держа в руках горящие свечи и листки бумаги. Они молились. Большинство молодых, чисто одетых людей, мужчины в пиджаках. Самый Главный, постарше всех остальных, видимо из украинцев, руководил всей процедурой. Сначала все пели вполголоса псалмы, гимны, а потом стали читать отрывки из Библии, «осветляющие мрачную неправду жизни» — так сказал их проповедник. Он призвал всех жить в мире, быть добрыми, справедливыми. Раскрытая Библия была старая, старая, пожелтевшая, истрёпанная, зачитанная, с полу–стёртыми страницами. На толстой коричневой обложке заметны были даже выемки, видимо, от касаний. Сколько же людей оставили на ней свои прикосновения? И какие пути она прошла, чтобы тут оказаться? Псалмы же были переписаны от руки на клетчатых, тетрадных листочках. Пелись и собственные стихи, сочинённые поэтами этой секты… несколько раз пропелись строчки: «…С вашим сознанием ждёт он свидания — имя ему — Христос!» — Изумляло и это пение, и вся трогательно–наивная атмосфера. Звучавшая тоска в пении, в гимнах, во всей обстановке, постепенно превращалась в какое-то другое чувство, — и уже не было ни степного, грязного посёлка, ни ненависти, а только возвышенно–приподнятая грусть. Казалось, что всё действие происходит где-то в древнем Риме, в катакомбах, во времена зарождения веры и преследования христиан. Вот–вот кто-то спросит: Что ты тут делаешь? Куда идёшь ты? Камо грядеши. Мы молча вышли из сарая. И до слуха донеслось лишь:

«Во имя Отца…» А один из наших молодых техников, Саша Бабкин, остался — обаяние молитв, вместе с красотой Лидиной дочки подействовали на него так, что он сделался членом этого братства. Оказалось, что существует ещё сила, способная увлечь людей от всей суеты, мельтешения, денег, коммунистических идей. Вот такой результат имело наше посещение тайной агадырской протестантской общины. Девочку, конечно, мы и не пытались отбить. Что могли мы предложить ей вместо её желания заполнить пустоту?

В Нью–Йорке тайной, бескорыстной самодеятельности я не заметила — только для массовых тиражей, реклам, или за большие деньги — слишком высоко тут ценится поэзия, философия, мудрость, что никаких денег не хватает их поддерживать, и они потихоньку исчезают из употребления.

В Агадыре население развлекается в одном клубе, двух столовых и нескольких чайханах. Но самая излюбленная форма развлечения — питьё водочки «под забором» — где придётся, около магазина, угла дома, в подворотне. «…Всюду пир, всюду край чудес…» Какими только прозвищами и именами не назывались бутылки с водкой, от «маленькой» до «огнетушителя»… Сколько ласковых суффиксов, приставок, прилагательных пускалось в ход перед и после употребления. Сколько изощрённых присказок, прибауток, лирических обращений, как к возлюбленной. Веселящиеся группами и в одиночку располагались прямо на пыльной земле вокруг ларька, где продавались бутылки водки и закуска — консервы, известные под названием «килька в томате» или «завтрак туриста». Несколько раз буровики меня приглашали «под забор» — уважить их — выпить глоток зверского напитка — местной самогонной водки «Арак». «Выпьем там и выпьем тут — на том свете не дадут» — приговаривали они. Я раз попробовала полглотка этого жидкого вещества и долго обходила стороной то развлекательное место, — чтобы демократичность не вступала в конфликт с отвращением.

А в дни праздников в Агадырь завозили бочки с разливным вином под народным названием «Бормотуха» (напьёшься и будешь бормотать), которое продавали в разлив, и весёлые сходки вместе с потасовками происходили прямо около бочки. Как-то два мужика, налив этого напитка в свои полиэтиленовые мешки, (видно, ничего у них под рукой не было) вдруг заспорили, заорали и начали драться этими мешками, — тусовать друг друга как в боксе; один из мешков разорвался, и краснорыжий раствор обдал одного драчуна с головы до сапог. Облитый, не жалея своего мешка, размахнулся им во всю длину руки, ударил

необлитого, тот хотел увернуться, но споткнулся, и тоже был залит бормотухой. Ругань пошла такая, что ребята меня увели от этого зрелища, и я не знаю чем закончилось это полиэтиленовое сражение: что стало с вином, попавшим в сапоги? И скинулась ли публика на следующий раунд? В книгах и в кино рыцари сражались на шпагах и рапирах, теперь — в ход идут технические достижения. Экзотическую драку до этого я наблюдала в Кронштадте: два матроса под нашими окнами дрались морскими ремнями с пряжками, они по очереди размахивали каждый своим ремнём, пряжки метались в воздухе и даже посвистывали; причём каждый из них так ловко уклонялся от ударов, что казалось они специально разыгрывают сражение, чтобы восхитить собравшихся. Однако подошедший военный патруль забавники не восхитили, представление закончилось: для зрителей — разочарованием, для артистов — губвахтой. Кстати, ни «Арака», ни «Бормотухи» тоже не встретишь на этой стороне океана, по зверскости эти напитки перешибают все существующие. А вот сражений, по крайней мере по телевизору — сколько хочешь, только друг в друга кидают таким разнообразием изделий, какое не водилось в нашем захолустье, к примеру телефонами, компьютерами. Наверно, телевизионщики заимствовали этот обычай из Агадыря, разукрасив его заморской роскошью.

Если взглянуть на место изнутри — то и в Агадыре, и в Нью–Йорке почти одинаково страдают от скуки. Скука бесконечности и там и тут, и тут и там. В Нью–Йорке одиночество многомиллионной толпы… В Агадыре — абсолютная опустошенность. Не видя удовольствий от жизни, боясь одиноких вечеров, и чтобы увернуться от времени и тоски, в Агадыре — просто напиваются, в Нью— Йорке же всячески изощряются: летают, нюхают, бродят, приковываются к телевизору. Некоторые агадырские обитатели пока не хмельные, то грустные, но как только выпьют лишнего, то расходятся в полную хулиганскую силу исключительно и бессмысленно. Как известно, «у них Гамлеты, а у нас Карамазовы». Однако теперь так сказать почти нельзя — Гамлеты на этой стороне Атлантики давно повывелись и превратились в банкиров. Один, правда, попался на Бродвее, привезённый английским театром, но не удалось с ним поговорить, потому как Гамлет и Офелия пели (они были рок–певцами) и вокруг них крутился босоногий голландский Национальный балет. А вот Карамазовых на нью–йоркских просторах развелось больше, чем можно себе вообразить — ко всем субъектам со всех сторон, на работе, дома сексуальные домогательства — со стороны боссов, отцов, братьев, дядьёв, инфантов. «Не приставал ли к вам ваш родитель?»

— положительный ответ оправдывает все твои прегрешения. Тайна карамазовских генов пробралась в нью–йоркское общество. По–видимому, Митя Карамазов все-таки убежал из тюрьмы в Америку вместе с Грушенькой… Вот бы Фёдор Михайлович подивился! Одно время в Агадыре тоже стал появляться Гамлет в синей накидке — в клубной самодеятельности, — в него перевоплощался бухгалтер из Центральной экспедиции, но Гамлеты тут не прижились, остались только тени отцов.

В Нью–Йорке ты почти что нищий, в сравнении с небоскрёбами, и придавлен своим положением хижины. Масса сенсаций, многочисленных новостей. Людей бесконечно соблазняют всякими политическими трюками и мелочами. И досадно, что тебе в предместьях Нью–Йорка внимания уделяется значительно меньше, чем хотелось бы, тут масштаб безразличия крупнее. Далеко не так в агадырских предместьях, где одно твоё появление в брюках вызывает взрыв любопытства. Осмотрят со всех сторон. «Откуда это забрели по такой грязи в туфельках? А какой–такой плащ-то развивается?» Ты почувствуешь заинтересованное отношение к себе, к твоей одежде, виду, жизни. Советы, замечания, комментарии. Участие возрастёт до невероятной степени, если ты вступишь в разговор, постепенно окажешься в положении родственника, и от этого есть кой–какая тебе польза — находишь моментально поддержку.

Нью–йоркские часто «аплодируют какой-то козявке незначительности». Бывшие и небывшие актрисы, певцы, прыгуны, спортсмены комментируют мировые события с видом знатоков, почти как наши буровики, которые иногда высказывали свои полуграмотные, доморощенные идеи перемены миропорядка. И хотя любой встречный поперечный в Нью–Йорке быстро и чётко говорит в микрофон — слова отскакивают от языка, но большей частью это — эхо, какие-то отражения. Не представить что бы наговорили наши буровики, если бы их пригласили к микрофону?! Наверно, ничего не могли бы сказать — по причине страха и стыда — речь привыкли пересыпать матерными словами, а говорить их нельзя, без них же лексикона не хватает, феню, жаргон не все понимают. Почему-то не только буровиков, а многих, говорящих на гибком русском языке, охватывает паника перед микрофоном. И разговор бесконечно уснащается разными вводными «лишними» словами: значит, понимаете, относительно, как бы… Свойство языка или сознания? Всем известно, как новая русская языковая революция схватилась за свободу слова и позаимствовала многое из лексикона буровиков, — английский уже давно поднабрался свободы, и русский навёрстывает пропущенное.

В Агадыре — аплодируют тебе–королеве, и если на то пошло, агадырские в сравнении со своими столичными братьями из-за одного этого уже не кажутся такими наивными. А из-за всего остального? «Стреляного воробья на мякине не проведёшь» — говорят в народе, а в Агадыре все — «стреляные». Наивными тут были только динозавры. Потому как сама жизнь тут предельно обнажает сущность бытия и разрушает иллюзии насчёт человеческой натуры.

И разве это не поразительно, как господин Кант, не живя ни в Агадыре, ни в Нью–Йорке, не выезжая из Кёнигсберга, сделал вывод об априорной зловредности человеческой природы? И на что только не способен человек: от людоедства — до критики чистого разума. Где же ты на этой вертикали?

Но не думайте, что я хочу жить в Агадырских невзрачных кибитках, а не в нью–йоркских комфортабельных условиях. Конечно, агадырская жизнь по удобствам, предметам быта, унитазам, тортам отстаёт на уровень Луны от нью–йоркской. Уже по одному этому какое может быть сравнение? И агадырская жизнь требует каждодневного испытания, хотя и нью–йоркский рот нельзя разевать — выпадешь в осадок. С первого взгляда ни Агадырь, ни Нью–Йорк, ни какие другие поселения не могут представиться в том виде, в каком они представляются впоследствии. Ведь если взглянуть на жизнь изнутри, то вполне возможно, откроется больше сходства, нежели кажется с первого взгляда. И все выдумки меркнут перед действительностью. И только сам можешь это испытать, — никакие рассказы, фильмы тебе не передадут этого ощущения. На внешний вид и на слух кажется два несопоставимых мира, — а психологический ландшафт? О чём думают в самом забытом углу Ага–дыре, и о чём в столице мира?

Но думать и жить — разные вещи. И разница не может не отразиться на твоём мировоззрении… мироощущении, вы зависите от общего, от жизни, языка даже если не принимаешь каких-то устоев, идей, но всё равно вольноневольно поддаёшься. Как от этого уйти? И как можно жить среди монотонной обстановки? В Агадыре много людей в забвении и амнезии, ничего не понимающих, конечно, на разных уровнях непонимания, нерасторопности, безразличия и полного отсутствия реакций.

В Нью–Йорке в совместном сознании есть соображения демократические к каждому индивидууму (тем не менее конкретно дела до тебя нет никому — тебя оставляют в покое). В Агадыре не существует никакой общей концепции ценности каждого, никакой личной ответственности, но зато такая

неудовлетворённость существованием, которая переносится на других — унизят, дискриминируют при каждом удобном случае (женщина, больной, старый, чичмек), чтобы лучше себя ощутить. Если машине с буровиками попадался на пути казах, татарин, узбек, с отличительными чертами, не похожий на них, то всегда неслось что-нибудь насмешливое вслед: морда-то косорылая, тупая… И все смеются грубым, самодовольным смехом. При этом у самих лица затемнены бессмыслицей. Народ надменный, нетерпимый ни к каким признакам чужого, непонятного им человека или события.

Самый последний подпольный человек не применёт показать другому, что считает его ниже себя. Это предположение, что ты сложнее, умнее и постигаешь то, что простому смертному недоступно, пропитывает, конечно, и непоследних, и даже тех, кто считает себя самыми передовыми. Так что заносчивым превосходством могут похвастаться не только буровики. — А кто? — «Посмотри на себя, хозяйка, — пишет мой кот о моих писательских этюдах, — какие были представительные господа писатели, и что ты можешь добавить новенького?»

В Нью–Йорке бесконечность информации, мировые шедевры живописи в музеях, столько памятников, столько театров, с пьесами Шекспира, Шоу, Чехова, Джойса, Уайльда, Фицджеральда. «Кошки» Элиота… «Отверженные» идут годами. Тут рождаются новые формы театрального искусства, каких только звезд не видели сцены театров, представления не могут не поразить самое богатое воображение, немыслимое число выставочных залов галерей, богатейшие коллекции книг в библиотеках, и не перечислить всех достопримечательностей. Линкольн— центр. Рокфеллер… Ритмический шум от всего, что только есть на свете. Блеск нашей цивилизации! И в этот век разума и прогресса в Агадыре тоже есть своя достопримечательность — безразличие и невежество — дремотное состояние; однако в Нью–йоркское многослойное общество агадырское может влиться, как составная часть, и ничем не отличаться от столичного. Агадырское — не хуже любого другого, и агадырская уникальность нивелируется. И если часть ньюйоркцев поменять на агадырчан, то никто и не заметит обмена, кроме них самих. А если составить коллаж из Нью–Йорка и Агадыря, пристроив последний где-нибудь с краю, то вообще-то никто не увидит различия. А если взглянуть на натиск телевизионных шоу, то уж совсем не отличить: кто откуда? — Разве что одни не используют русский язык.

По страстям, происходящим в нашем заброшенном углу, — нет такого места, куда бы ни могла пробраться любовь, —

Агадырь не уступает ни одному обществу и Нью–йоркскому тоже. На фоне монотонной обстановки, нерасторопности, безразличия, казалось, полного отсутствия реакций, — вдруг напряжённые человеческие взаимодействия — слёзы, разрывы, выяснения. Тут такие страстные истории, целые вселенные ревности, любви, соперничества, и тоже чудовищное развитие страстей уживается с тупо оцепенелым равнодушием.

Жизнь в дырках окраин не кончается, но — продолжать свою жизнь обитатели окраин (у кого чувство независимости сильнее чувств связи) стремятся в столицах, в нью–йорках… И куда дальше? А дальше ехать некуда. Дороги ведут только в лес.

Приравнивание этих двух таких разнесённых понятий: полная искусственность–Город и естественность–Степь завели меня немного дальше, (или немного ближе) чем я предполагала. Показать схожесть несопоставимых вещей, находящихся в разных измерениях, сравнить Небоскрёб и Кибитку оказалось просто насилием над сознанием. Почти как поставить знак равенства между искусством и жизнью.

— А зачем бралась? — опять я слышу ироничный голос моего оппонента. — Сравнивать нужно по высшей точке отсчёта. Прикинь высшие начертания там и там — и что ты увидишь? Ты искала Дырку в Яблоке. Смотрела, сколько агадырского подполья в Нью–Йорке? Да, некоторых нью— йоркских с трудом можно отличить от агадырских. Ну, и что? Хоть и «сладок нам лишь узнаванья миг», но духовные различия между людьми больше, чем биологические. Ведь как не примеряй Небоскрёб с Кибиткой — в остатке остаётся много несравнимого пространства.

— Что ответить? В оправдание, что взялась за такие сравнения, можно посмеяться над собой: «Главное — это величие замысла», как шутил поэт. Хотелось «забыть» обобщающие понятия: Россия, Америка, Восток, Запад, и посмотреть там, и тут человека — себя. И подумать, что презрение к месту измеряется людьми, его населяющими… А что важны декорации, окружение — это приходит в голову каждому. Хотелось поймать, соединить, связать самые отдалённые нити в одну ткань…

— Поддавшись соблазну поисков сравнений — ты забыла о духе места… Забыла, что «далеко заводит речь…» захотела решать проблемы в утешительном для себя ключе. Забралась на небоскрёб, улетела в эмпиреи — интерпретировать события прошлого с сегодняшних позиций.

— Да, пытаюсь одно приладить к другому, упростить, понять до какой степени быт–бытиё оказывается способным определять сознание. Внучка Карла Маркса? И кажется, открываю велосипед: пока сознание не созрело — в детстве, юности лучше всего жить

«среди богов», среди дворцов, там где тебе передают «палочку», научат кататься на велосипеде — потом уже можно жить где хочешь. Хотя тоже не совсем так, если ты вмонтируешь велосипедное колесо в табуретку в степи, то никто не будет знать, что это — шедевр искусства двадцатого века. Если бы Моцарт родился в Агадыре, то с точки зрения нашего буровика он бы был всем в тягость, с него бы требовалась «работа», а не музыкальные этюды.

Сейчас с помощью компьютера культура распространяется мгновенно в самые экзотические провинции. В мире всё усложняется, квантовые скачки, ускорения, не тратя ни секунды времени, можно всё узнать, решить свои проблемы, компьютер вошёл как демон в нашу жизнь. И может, захватит и таланты агадырских безграмотных людей? Существует поэтическое мнение, что войны выигрывают языки, а не легионы, и что империи удерживаются языками. Может, русский, в котором эмоции ещё не отделились от смысла (как считают некоторые учёные и лингвисты) расширит возможности людей, на нём говорящих, и вслед за Фолкнером можно надеяться, что «человек и выстоит — и победит».

— Остановись и спроси у себя: опять ты строишь идеальные очертания?

Когда я оглядываюсь назад, перебираю свои агадырские воспоминания, то вижу, как житьё в оторванности от привычных условий, бок о бок с новыми людьми твоего круга — геологами и незнакомыми — «подпольными», на фоне степи и пустыни, даёт массу психологических приобретений. Именно от экспедиций я получала уроки терпения, уживания с людьми, благоразумия. И главное, получила прививку от самой себя — не строить «принципов» своей правоты, и могу сказать, что эта прививка по сей день спасает меня от болезни, которую каждый может называть, как хочет, — невидимые заслонки, тюрьма характера, — у неё ещё нет определённого названия, а только симптом — быть нелюбимым.

Тут я впервые столкнулась с другой средой, непривычным бытом, непонятными ситуациями и поступками людей, — с народом, его философией и даже другим языком — феней. Рабочие и буровики выдумывали «феню» — язык для своих. Может, это и был знаменитый «гегемон революции»? Во всяком случае уже тогда там была гласность, особенно если смотреть на мат, как на противостояние власти. Встреча с агадырской жизнью, с обнажением её пределов, была тогда для меня пограничной ситуацией, — испытанием; так позднее встреча с заграницей, как погружение в новый предел, обнажённые края которого тоже

царапают.

Доморощенная девочка, выросшая в крепости, в закрытом городе Кронштадте, на острове с морем вокруг, с морским воздухом и морскими офицерами, в иллюзорнопризрачной, стерильно–безопасной атмосфере, начитавшаяся книг и насмотревшаяся сладких фильмов, живёт в неосознанном сне. В её голове чего только не грезится: и мужской образ, и радости незнакомых улиц, и пучины предстоящих действий, путешествия, стихи, радость неведенья и ожидания. И вот, после детских снов и блаженства она просыпается — обступают тени, и начинают вырисовываться истинные события и люди. Сваливается реальность жизни, которая обдаёт ледяной водой неприкрытую голову. Холодная вода вымывает из головы глупости, но и не только… Зло подкарауливает таких невинненьких… с помощью светлого в нас можно дойти до самого чёрного. Детская невинность мы знаем чем оборачивается.

История любой души начинается в детстве, тогда, когда вырастает внутреннее ядро из происходящего, из фильмов, книг, фантазий, размышлений. В хаос моего детского безвоздушного пространства сначала попали послевоенные трофейные фильмы, из которых как из вращающейся газовой туманности, кристаллизовались кое— какие представления о мире. Эти фильмы мы–дети смотрели, сидя на полу в деревенском клубе, лицом касаясь экрана. Экран надвигался — и мы оказывались среди пучин действий, страстей — вдыхали запахи джунглей, удивлялись пиратам, дотрагивались до платьев королевы, ощущали эшафоты, радовались незнакомым улицам, шли по мостам Ватерлоо. Туда… где «за тридевять земель» праздничный весёлый мир Тарзана, совсем несхожий с твоим, — там передвигаются на лианах, там особые люди — леди Гамильтоны, Робин Гуды… там добро всегда побеждает. Там случается что-то таинственное, бродят кардиналы и ты, мушкетёры к тебе склоняют свои поклоны, немыслимые сокровища островов обсыпают — тебя. В блаженном парении голова два часа задрана вверх, и не хочется её опускать — возвращаться оттуда, где есть «прекрасное и возвышенное». Мы (я и мои подружки) долго не знали, что эти фильмы не имели никакого отношения к реальности. Но, как это ни парадоксально, они зарождали в нас некоторый инстинктивный индивидуализм, в отличие от повсеместной пропаганды коллективной психологии. Наверно, несоответствие увиденного и действительности пробуждало первое сознание. И уж во всяком случае разжигало желание посмотреть на мир — путешествовать. Мы готовы были отправиться куда бы то ни было, в любую Тьму–Таракань, только

бы не быть среди своей обыденности, только бы уйти от будничной жизни. Туда, где можно забыть всё происходящее, пожить без лозунгов, родителей, школы… Заманчиво было всё, и даже те места, которые называют «дырками» — Ага–дырками.

Мы выбрали для себя профессии, связанные с путешествиями: геологию с географией, чтобы скрываться, хотя бы на время. И уезжали на Памир, в Казахстан, в пустыни… Лучше гулять с динозаврами по погребённым морям и лесам, застывшим океанам, чем с живыми «призраками коммунизма» по улицам Ленина и Карла Маркса; смотреть на стремительные, стонущие горы (в Тянь–Шане есть гора, которая стонет — внутри неё клокочет поток ювенильной воды из земной мантии), на ворчащие вулканы Забайкалья, чем на стремления и стоны окружающих; дышать сухой степью, чем влажным, выжженным коммунальным воздухом; слушать шорохи молчания, чем громкую пропаганду; есть биш–бармак, стекающий по локтям, плов на узбекском тое с барашком… Чем… Подальше… Только бы убежать из привычного быта. Куда-нибудь.

Ну и как? Удалось?

Даже если придумаешь как убежать от мамы, соседей, общества, школы, а от себя можно ли скрыться? Из всех странствий приходится возвращаться… к себе.

Из экспедиций я не торопилась возвращаться. Я не ожидала ничего непредсказуемого ни в городе, ни в моей семье, а в экспедициях узнавала больше об окружающей жизни, чем из любой книги. Многие геологи считали дни до отъезда, я им немного завидовала — может, их ждёт что— то необыкновенное? Я всегда знала, что вернусь к обеду, а время уйдёт, и содержание моих переживаний было в настоящем. Между «ещё рано» — время ещё не наступило, или «уже поздно» — ничего как бы нет, есть только — «сейчас», «теперь». Быть между частицами «ёщё» и «уже». Ведь только «теперь» есть время и возможности что-либо делать, узнавать.

И в экспедициях я узнавала живые отношениями между людьми — увидела человеческую изнанку — предательства, хитрости, обманы, пьянство… и на фоне всего этого — цветы нежности, верности, человечность. Кажется, именно тогда я впервые осознала «разнос» человеческой натуры. Позже я прочла об этом у палеонтолога и философа Тейяр де Шардена в его книге «Феномен человека» — человек как вид феноменален — ни раковины, ни грызуны, ни обезьяны не отличаются таким спектром «низа» и «верха», как хомо сапиенс.

Когда я смотрела кадры фильма, как Эйзенхауэр провёл население через немецкий концлагерь, то, воспитанная на

отвращении к немецкому фашизму, относила все кошмары бытия на их счёт. Это какие-то другие чудовищные люди, не наши — возникло чувство отстранения, непричастности. И вот — увидела развалины знаменитых Карлагов (карагандинских политических лагерей для заключённых) чуть севернее Агадыря, тянущиеся на половину планшета (порядка 10 км) от притока реки Токрау до самого горизонта. По обе стороны дороги — торчащие остатки разрушенных стен, останцы печек, перегородок, между ними чернеющие обгорелые груды неизвестно чего, ямы с пеплом, кучи камней… Крыш нет. Нескончаемый мёртвый пейзаж. По всему видимому пространству не растёт ни единой травинки, ни кустика, никаких признаков жизни — неестественный бэдленд — изуродованная человеком поверхность земли. Как такой тип рельефа нанести на карту? В воздухе висит запах, который ест глаза и сердце, и опережает вопросы, повисающие вместе с онемением. Перед лицом заброшенных в смерть неподвижно стоим, не глядя друг на друга, заткнув носы, закрыв глаза, сжавшись. Ничего не поднять обратно, ничего не отдать назад. Все они умерли, умерли… Короткий свист орла–могильника приводит в сознание, что ты жив, что ты не на том свете, а на этом. И стыдно, и страшно. Стыдно смотреть вверх, и ещё стыдней вниз. И страшно — до кости обнажается природный носитель Зла, и ещё страшней, что ты тоже относишься к этому виду. Я внезапно почувствовала, что «мы» ничуть не лучше, чем другие люди, и я тоже… Страх и отчаяние. Чистенький, наивненький, весёленький. Но не отстраниться — это есть ты… «всё может статься с человеком». Человек способен на всё. Кошмар бытия — в себе.

И опять захочешь жадно читать, а не учиться у жизни. Дайте книгу, но не про нашу реальность, а не знаю про что! Чтобы не знать что снаружи, чтобы очутиться далекодалеко от действительности, и всё дальше и дальше от Агадыря, Нью–Йорка — совсем в другом месте. Чтобы там были люди, у которых другие походки, головы подняты вверх, благородные и возвышенные, уничтожающие всё лживое, мудрые, не мыслящие по общему шаблону, осознающие свои поступки и неизбежности. Сверхлюди? Господа эпохи Возрождения? И чтоб книга была бесконечной, без Времени, и чтобы не возвращаться из «хрустальных зданий»… Есть у кого-нибудь такая книга?

С годами завороженность от путешествий начинает проходить вместе с иллюзиями насчёт человеческой природы, — хотя добро бросать жалко. Уехать из призрачной кронштадской крепости, отстраниться от привычного, «выйти из Земли своей», бывает необходимо, особенно доморощенным, чтоб ещё раз

удивиться противоречивости и абсурдности действительности, включая тебя самого. Но из всех странствий приходится возвращаться… и счёты сводить с собой. И вот тут-то и приоткрываются некоторые тайны путешествий, хотя отдельным людям они, наверняка, не покажутся такими уж тайнами: где бы ты не столкнулся сам с собою — в Дырке или в Столице, — нигде не найдёшь законов, защищающих тебя от самого себя. Себе на поверхности можно соврать, вообразить, обмануть, улизнуть, выкрутиться, замаскироваться… и отбросить всё в глубины, как теперь называют, бессознательного. И летят все отбросы душевных неурядиц «под ковёр» — в тень. И в этой тени накапливается столько всего, что можно совсем почернеть, потерять равновесие, — свалиться с велосипеда, качнувшись влево или вправо, сесть на табуретку (вот так соотносится велосипедное колесо и табуретка!) и подумать: что выбросить «из-под ковра», чтобы облегчить путешествие?

Что выбросить? Что оставить? Как отличить, что стоит беречь, а что не стоит? К примеру, что делать с завистью?

Если её окончательно выбросить, то… будет ли стимул к творчеству? Амбиции… а с ними как быть? И как с добротою? С прощением? Как переоценить все ценности? Сколько стоит теперь, к примеру, милосердие? И почём ходят «мёртвые души»?

Бабушка говорила: «Зачем берендить себя? Такое можно обнаружить, что лучше с собой не связываться». Если считать это «бабушкиной, агадырской философией», и рискнуть на новое странствие из внешних америк, агадырей, полей, городов — в неизведанную страну — «Участь души». То? — Что ожидает тебя там? Возможно, там можно изведать такие фантастические движения, что закружится голова от невиданных высот (эти путешествия только для тех, кто не страдает головокружениями), возможно, чем дольше будешь смотреть по сторонам, вниз, вверх, то незаметно перестанешь различать сходство и разницу между глубиной и высотой, между дыркой и небоскрёбом, между тобой и табуреткой… и совсем неизвестно, во что можешь превратиться. Гляжу с испугом. Кто там? В глубине нью–йоркского зеркала — мой агадырский двойник. Я? Не — Я? Двойники перемешались.

Кажется, я касаюсь абсурда. Вот и приехали! в другую историю.

Осколок страсти

Ранним апрелем степь совсем особое зрелище. Ковыль своими белыми перистыми остями создаёт волнующий фон, и сквозь его жемчужные стебли просвечивают тысячи разных цветов: бледно голубые гиацинты, лиловые и белые зонтичные, у самой земли красные точечки типца, — синие, синие пирамидки многих неизвестных. Замираешь — и глядишь через воздух на горизонт. Кажется… игольчатые стебли ковыля неуловимыми движениями перемешивают все цвета, растворяя их в своём жемчуге. Или то дрожат хрусталики глаз от весеннего простора?

И я опять в Агадыре, но уже как настоящий геолог с правами. Я оказалась в центре поисков редких ископаемых, в самом передовом научном отряде, да ещё холостяцком. Мне предстояло приготовить всё необходимое для полного сезонного житья в степи нашей геологической партии, — почти на семь месяцев — закупить продукты, кухонные миски, вёдра, плошки, поварёшки, палатки, мешки для спанья, найти рабочих и повара. Обязанности завхоза обычно стараются «спихнуть» на только что поступивших, и это была я.

«Старый», прошлогодний, уже работавший в прошлом сезоне в этой партии, агадырский шофёр Виктор должен был мне помогать и в передвижениях и советами. При его поддержке получение со склада провизии обошлось вполне мирно, хотя и с отдельными вспышками и нехватками. «Виктор, откуда это такого работника выписали! Что, такие фифочки распоряжаются!» — за моей спиной посмеивались кладовщики.

Нашлись и первые рабочие: взрослый молчаливый мужчина и другой молодой крепкий парень. Но самое главное — повар — был ещё не найден, и предстояли поиски, почти как золотого месторождения. Около экспедиции вертелись толпы желающих заработать, наезжавших со всего Союза, семьи кавказцев, освобождённые заключённые, всяческая шпана, шаромыжники, ханурики, ханыги и просто потерявшиеся. Все просят, подлизываются, кричат, и ты должен выбрать: кто же подходит. Кто? Кто не убежит, не отравит, не сопьётся? Тут выбор в чистом виде, не по знакомству, не по блату, не из-за выгоды, не по образованию, не по резюме, а по интуиции. Нужно целых семь месяцев есть еду, которую приготовит выбранный человек. Как определить? Не заставишь же приготовить котлеты у тебя на глазах?!

Мне приглянулась одна молодая женщина, миловидная, с раскосыми карими глазами. Я всегда выбираю людей, подруг по

физиогномическому принципу, если мне нравится лицо человека, то я готова ему верить. Она подошла ко мне, беспомощно оглядываясь на парня, выглядевшего совсем подростком. Они хотят вместе работать. В лицах обоих была примесь южной смуглой крови… Женщина смущённо молчала, а парень её нахваливал: «Неужто хто может сготовить лучше Оксаны? Вы ейных украинских борщей отродясь не едали! Хотишь вкусно исть? Окромя Оксаны вы никого не отыщите…» Женщина стояла такая тихая, застенчивая, склонив голову. Она понравилась, и мы договорились, что Оксана и парень, как рабочий, поедут с нами. «А как насчёт авансика?!» — произнёс парень. Я быстро дала аванс, их лица повеселели, они пообещали прийти на следующий день, чтобы делать закупки продуктов. И… не пришли. Они навсегда исчезли в Агадырском подполье. Надо мной смеялись, что мол, дурочка, нашла кому аванс давать. «Разве можно деньги давать наперёд полного появления доверия или продукта. Эта шпана пропьёт всё, что попадёт в руки…» — говорил шофёр Виктор.

Это были мои первые знакомства с Агадырскими рабочими и правилами их игр. Мои первые психологические испытания… Нравится лицо? У меня было смущение, что нужно решать задачи, для которых я не подготовлена. И хотя я всё-таки надеялась их увидеть, но тем временем искала другую. И нашла! Царицу! Королеву Викторию! Статная женщина с холодной и величавой осанкой, с выразительными зелёными глазами и носом с горбинкой представилась: «Прасковья Борисовна Пронькина», — посмотрела на меня значительным взглядом и тем же тоном произнесла: «Тётя Паша — можете величать!» Императрица мне разрешила такое фривольное обращение. Виктор разузнал о ней, с каким-то отрядом уже ездила в поле, что она отменно готовит, хотя может выпить лишнего, если попадётся, но он заверил меня, что в степи, без машины пить можно только воду. И мы, то есть уже вместе с Виктором, «сделали ей предложение». По тому как она выбирала и заказывала продукты был виден мастер. «Кызымка, обязательно нужно взять все приправы, и лист, и перец, и сушёного чеснока, и укропа, в одном ларьке я видала и эти грузинские хмели–цунели…» Меня она сразу стала называть «кызымка» (как мне перевели — девочка, по–казахски). «Кызымка, видать, несмышлёная по кухне» — снисходительно скажет она и устремит на меня глаза, пронизывая зелёным взглядом насквозь. И я не знаю, куда деваться. У неё был такой пристально–изучающий взгляд, что я её побаивалась. Я, действительно, мало понимала в кухонном деле, и слушалась её безропотно, и шофёра Виктора, и нашего рабочего.

Один из наших рабочих был удивительный мужчина с лицом, которое могло быть образцом статуи древнегреческого философа. В его лице, по–видимому, были признаки чужой расы, какая-то странность, благородно очерченные губы и изумительно тонкая линия носа. Я никак не могла понять, почему человек с таким лицом и видом, должен рыть канавы и шурфы, а не возглавлять кафедры искусствоведения? До сих пор загадка, как и вся абсурдность сравнений. Его все называли «Василич», ну, а я прибавляла: Пётр. Вся моя бригада во главе с тётей Пашей подсмеивалась надо мной, видя, как я пытаюсь руководить, мало понимая во всём обеспечении. Им доставляла удовольствие моя неосведомлённость, моя растерянность. Уж, как все они хохотали надо мной, когда выяснилось, что я не знаю, что печки в поле топятся кизяком, и из чего, и как он делается. «Ну, кызымка, чему ж вас в институтах-то обучают! Всё высшие материи! А тут говно придётся изучать. Жизнь. Дерьмотология».

Обсмеяли они меня и тогда, когда я спросила у шофёра, почему соль рассыпана вдоль дороги. «Кызымка, вся степь ими покрыта, — солончаки это!» Я теоретически всё знала про солончаки, но не представляла, что они около дороги прямо так и лежат. Просили они меня заказать солярки для прочистки осей, а сами хихикают, подталкивая друг друга. Как вести себя, как поставить себя перед этими людьми? Чувствую, не могу прямо так обижаться — буду выглядеть глупо, вызову ещё больше желания меня дразнить, будут пользоваться любым предлогом, чтоб задеть, чтоб получить наслаждение. Знаю с детства, когда дразнят, то ни в коем случае нельзя обнажать свою обиду — задразнят, замучают, наплачешься — всегда делать вид — из-за ничего — не обижаюсь, а главное, не замечать дразнилыцика, не оглядываться. Много позже прочла у кого-то из древних философов: «оскорбление не достигает мудреца». А тогда как-то решилось, что лучше я сама стану смеяться над своим незнанием, не буду стыдиться неопытности, пусть видят, что эти насмешки меня не касаются. И я смеялась вместе со всеми, и над собой и над ними.

Постепенно мои сотрудники смирились с моей молодостью и жизненной наивностью. Всё-таки я была их начальник! Не знаю, что было бы со мной, если бы я от них зависела?! Сколько презрения могут высказать люди, всем известно, что делается с человеком, если он получает хоть капельку власти, и как из просителя превращается в мелкого тирана, и оскорбит, и унизит. Я всегда прикидываю: от кого из окружающих не стыдно зависеть? И совсем мало знаю — от кого. В этот Агадырский котёл, как я уже говорила, каких только людей не забрасывало! И

убежавших, и прятавшихся, и потомков дворян, и бывших революционеров, и бывших тюремных надсмотрщиков, и всяческих криминальных личностей, на лицах которых отражалось кипение диких тёмных страстей. Уж, лучше самому командовать.

Конечно, Василич был тут случайно, и говорила молва, что он раньше был офицером, но горькая водочка забросила в это место и на эту неказистую должность. Он немного произносил слов, только задумчиво курил. На лице у него лежало какое-то утомление, страдание, внутренняя тоска и, глядя на него, я чувствовала, что в его жизни были тяжёлые и тревожные испытания. Пока я описывала геологическую историю в вырытых им ямах, он грустно и безмолвно сидел на камнях, казалось, что он принадлежал тому докембрийскому прошлому времени, как часть этих камней. Как пейзаж. Старик и камни. А как он рыл канавы — как он это делал! Каждый камень, казалось, подчиняется его воле. Он не просто швырял землю и торопился скорее вырыть, а обласкивал каждый камушек, и так бережно обращался с простыми породами, будто это брильянтовые россыпи… Будто он достаёт и владеет сокровищами. Все вынутые породы сложены, стены у канав ровные, гладкие, точно отмеренные, устремлённые. Каждая трещинка использована так рационально, что кажется камни сами падают и разбиваются на мелкие кусочки, — не столько от долота и молотка, сколько от силы человеческого разума. На берилловом месторождении Акчитау Василич показал мне разрытую им кварцевую жилу и извлечённые из неё образцы. Вы бы видели эту экспозицию! Большая друза с зелёным хризобериллом лежала в окружении лиловых флюидальных лав, будто в музее на выставке. Хрустальные осколки кристаллов со всеми мельчайшими крупицами были разложены на белой папиросной бумаге, и солнечные лучи играли в этих осколках всеми цветами спектра. «Это так красиво», — сказала я, но мой голос показался неуместным перед геологическим безмолвием, слова какими-то нелепыми, банальными перед вечностью этих пород, перед непостижимой тайной. Василич молча смотрел на меня, и я смутилась. Мы стояли по разные стороны канавы. Кусочек красоты — несколько кристаллов берилла — я привезла с собой в Ленинград, — смотреть на застывшую вечность. За эту хризоберилловую канаву начальник выписал десятерную плату, — мы высоко ценили работу Василича.

Лагерь мы разбили на шлейфе подножья Кызыл–Тау, гранитных гор, внезапно и неожиданно возвышавшихся над степью. Горы были молодые, острые, дерзкие, с обрывистыми

склонами, пропастями и безднами. В покатости «нашего шлейфа» были углубления, напоминавшие небольшие пещеры, гроты. Разрыв и углубив одну небольшую пещерку, Василич сделал погреб для продуктов. Из грота, который был недалеко от источника, он вырыл для своего жилья землянку, больше чем в рост человека. Две стены землянки оказались из мелкозернистого гранита, с прожилками розового полевого шпата, третья из брекчий, вкрапленных в светлопепельный лёсс. На полу Василич уложил деревянный щит, над входом в землянку, обнажалась дайка, трещина заполненная твердыми голубыми кварцитами, торчащие зубцы которой при взгляде снизу казались витками старинной башни. «Подземный дворец» вырыл себе только Василич, другие рабочие ленились, хотя и завидовали, что в такой землянке можно хорошо укрыться и от жары, и от ветра.

Повариха тётя Паша тоже работала по высшему разряду. Она такие придумывала блюда, что наслаждению, которое мы испытывали от её приготовлений, могли бы позавидовать посетители всех самых дорогих ресторанов мира. В кухне Василич сложил печку, делать всё: печь лепёшки, запекать дичь, жарить, а в казанах, замурованных наглухо в поверхность плиты, можно было тушить целых баранов, сайгаков, дроф. Дичь сама просилась к нам на обед, тем более, что начальник Борис Семенович был страстный охотник. Однако коронным блюдом тёти Паши был бишбармак! Даже в казахских юртах редко можно отведать бишбармак в таком изысканном исполнении. Барашек, отваренный в ароматных травах вместе с лапшой из ржаной муки таял в организме. Весной некоторые сопки покрывались молоденькой травой с оригинальным запахом чеснока, и этот полулук–получеснок, добавленный тётей Пашей в бишбармак и в другие кушанья, придавал пикантный вкус всем приготовлениям. А лепёшки с малиной, которые тётя Паша пекла по–казахски, на стенках печки, с чем сравнить?! Приходилось ли пробовать? Пили ли вы когда-либо тёмный компот из свежей чёрной смородины, с сушенными грушами и яблоками? Все наслаждались тётипашиной кухней. С чувством уважительной гордости принимала тётя Паша наши восхищения: «Спасибо, дорога деточка!» — говорила она тому, кто просил добавки, и на её суровом лице появлялась лёгкая улыбка, при этом она слегка кланялась. При каждом обеде она приговаривала: «Кызымка засамая первая сядет — засамая последняя выйдет. И всё хохочет! И всё хохочет. Кызымке всё в смех».

Отношение к смеху в простонародье (да и не только) как к чему-то чужому, непригодному, часто весёлые люди находятся в некотором презрении, тётя Паша считала, что только

ненормальные и очень глупые могут смеяться. «По Агадырю ходит немой дурачёк, то ли татарин, то ли казах, ну, в точности смеётся, как наша кызымка. Ха… ха, да, ха… ха». И даже спросила у геофизика Вадима: «А не еврейка ли кызымка?»

Постепенно её снисходительное отношение ко мне стало принимать приятную форму: то насушит специально косточек от яблок, «кызымка, как трясогузка, страсть как любит эти зёрна», то зажарит любимые мною потроха, «кызымка одна токмо и съесть». Тётя Паша наблюдала за отношениями между всеми, делала умозаключения и оказывала свои предпочтения. Она заметила, что от меня зависит Василич. Я ему выписывала наряды. И хотя все в нашем отряде были только мужчины, но даже они заметили, что тётя Паша приветливей всего обращается с Василичем, его угощает, завтраки в поле заворачивает, миску с супом подаёт ему первому (даже начальник уступал эту привилегию). «Василич, возьми на канаву» — и нальёт целый бидон охлаждённого в роднике смородинного чая с мёдом — «Василич, изволь мясо с косточкой».

В дождливые дни все пристраивали свою промокшую одежду для просушки возле кухонной плиты. Тут тётя Паша была неограниченный властелин. Ключи от кухни в её руках приобретали власть ключей Петра, будто бы она отпирала и запирала небеса. Каждую вещь тётя Паша развешивала на своей иерархической верёвке в зависимости от положения её хозяина, вернее, своего к нему отношения. Она убирала, передвигала и меняла местами всё к своему месту, как Папа Римский, с притязаниями на «космический авторитет». Портянки и рукавицы Василича всегда занимали центральное место и висели на самых тёплых местах, затем шли куртки и принадлежности других фаворитов, «дорогих деточек», и дальше по рангу. Расстановка сапог и башмаков на плите, как некая высшая сфера деятельности, соответствовала установленным рангам тёти Паши. Кирзовые сапоги Василича возвышались над всеми другими и стояли у самого нагрева. Свои ботинки я часто находила где-нибудь в последнем ряду, и со временем приучилась сама ставить их в отведённое место. Как-то наш молодой рабочий Гришка потеснил сапоги Василича, и некоторое время спустя, можно было видеть, как гришкины сапоги вместе с портянками собаки таскали по всему лагерю. Тётя Паша их отлучила от печки. Высушенные вещи Василича, сложенные и проглаженные тётя Паша отдавала Василичу, и он произносил: «Борисовна, спасибо, уважила».

Кроме меня, которая неуверенно себя чувствовала и в кухне и в геологии, и никуда не вмешивалась, других женщин в отряде не

было, и тётя Паша, окруженная мужской компанией, ощущала себя главой большого семейства. От похвал, от всей свободно–уважительной обстановки тётя Паша оттаивала на глазах. Не узнать стало нашу хозяйку–повариху, она подобрела, на её суровом лице стала иногда проскальзывать улыбка, и во всём её облике стала замечаться некоторая рассеянность. В кухне она повесила зеркало на гвоздик около плиты и, проходя мимо, невзначай взглядывала в него. Жёсткий, пронзительный взгляд её глаз будто помягчел, появилась какая-то особая манера склонять голову, ещё страннее менялось лицо Борисовны при появлении Василича — оно становилось почти нежным и обаятельным. Как женские лица преобразуются! Я знаю многих чаровниц, владеющих искусством представать в разном обличии, и тётя Паша одна из первых среди них. Во всех её движениях сохранялось всегда чувство величия, сочетавшееся с едва заметными искринками в зелёных глазах, без всякого притворства. У тёти Паши кокетство было изысканным, природным, благородным, естественным (как научиться не переигрывать?) не иначе как царская кровь текла у неё в жилах — кровь царицы Клеопатры. (Когда много позже в Вирджинии в Шарлотвилле я увидела претендентку на княжну Анастасию, то по замшелости вида, эта претендентка без всякого анализа ДНК могла у тёти Паши только заколки вынимать.)

Чем ласковее она относилась к Василичу, тем нежнее были наши котлеты! Мы и месторождения начали открывать, наевшись и напившись изысканных приготовлений. А один наш техник, «дорога деточка», из свободных голодных художников, розовел и умнел на глазах, объедаясь тётипашиными лепёшками так, что стихи начал писать, а потом за них даже Главную премию получил. В степи подтверждалась мысль Платона, что богатство необходимо для достижения духовного совершенства.

«Борисовна, воды принести?» — спросит Василич тётю Пашу, — и несёт ей воду. Картошку вместе с ней чистит. Часто можно было видеть, как Василич сидит на кухне и молча курит, а Борисовна готовит. Как-то я зашла за горячей водой на кухню и услышала, что Василич и Борисовна о чём-то разговаривали, но при моём появлении замолчали. Не знаю, рассказывали ли они друг другу свои истории? Как и что? Были ли у них родственники? Семьи? Как попали они сюда? Я не имела никаких прав на их жизненные описания, да вряд ли кого-нибудь они посвящали в свои тайны. Агадырские люди прячут свои чувства, происхождения, живут без прошлого, и при всеобщей болтливости есть какая-то тайная завеса между людьми. «Там подполье — туда никого не пускают».

Я отдала тёте Паше свои старые платья на тряпки, а она сшила из них передник, перекроила, расшила, вырезала из красного сатина цветы и нашила их на светлый льняной ситец. Она шествовала по кухне своей особой победоносной походкой, держа в руках поварёшку, — сатиновые цветы передника переливались, как рубины на мантии, поварёшка сверкала как трость с набалдашником. Из пепельно–серых перьев дроф тётя Паша смастерила веер, комбинируя по очереди перья с зигзагообразными чёрными полосками и с поперечными белыми, скрепила их друг с другом, а нижнюю часть украсила маховыми пучками тёмно красного цвета. Получился роскошный веер Прасковьи Борисовны. Восхитившись её мастерством, я пропела песенку: «Этот веер чёрный, веер драгоценный, он в себе скрывает тайну и измену!» Она опять произнесла: «кызымке всё в смех», но в тоне уже не звучал прежний ироничный оттенок, а даже наоборот, лёгкая добродушная похвала. За одной и той же фразой сколько скрывается разного!

Вечерами Борисовна и Василич вдвоём играли на кухне в карты. В печке горел огонь, и по лагерю шёл лёгкий треск от горящего саксаула вместе с тонким смоляным запахом дыма. На столе стояла лампа, свет от которой падал на стоящий букет и лица. Освещённые перемешанным пламенем саксаула и лампы, шёлковые стебли ковыля с мелкими, но яркими оранжевыми и фиолетовыми цветами серо–зелёного типчака, с экзотически–искривлёнными ветками дубняка отбрасывали тень, которая расползалась по стене, ложилась на потолок, вздрагивала и придавала кухне таинственный вид. Тётя Паша сидела напротив Василича. Волосы зачёсаны, шея и плечи выступают из воротника, лицо выразительнозначительное, в глазах отсвечивающиеся отблески огня, в одной руке веер, в другой карты, на плечах шаль. Портрет герцогини Саксонской! Слово страшно сказать — у нас и Пронькины — герцогини!

В отрогах гор Кызыл–Тау, совсем близко от нашего лагеря, по склонам логов, рассекающих эти гранитные горы, росли самые неожиданные и редкостные кусты и травы, обрамляющие текучие ручейки. Чёрная смородина, обмывала свои тяжёлые грозди в чистой воде этих бегущих потоков, встречалась ежевика и даже крыжовник. Тётя Паша часто собирала ягоды, пробираясь сквозь терновник и колючие заросли, уходила довольно далеко от лагеря, и шофёр Виктор подвозил её вместе с корзинами ягод. В день когда тётя Паша собрала вместе с ягодами букеты цветов, Виктор решил, что она «того», «видать, старая ума лишилась». Как я теперь понимаю, она не была старая, ей было не больше сорока пяти, но тогда нам казалось, что это возраст стариков.

Шофёр Виктор день и ночь «калымил» вместе с тремя молодыми рабочими, они перевозили юрты, подвозили, помогали всем кочующим по степи и были заняты. Всем было строго настрого приказано не привозить в лагерь спиртного. У нас был «сухой закон», потому как все знали, что с появлением спиртного может потеряться равновесие и остановится вся работа. Вместо бутылки водки как-то Виктор привёз маленького пушистенького котёночка, которого оставили казахи на зимовке. У нас всегда жили собаки, кошки, но этот котёночек стал всеобщим любимцем. Особенно его полюбил неразговорчивый Василич. Он не спускал котёночка с рук, и никто из нас даже не претендовал на него, потому как все видели, какую радость Василичу доставляет котёнок. Василич назвал котёночка Жуликом. Жулик стал за ним везде бегать и даже спать вместе с ним на его кровати. За обедом всегда сидел у него на плечах или на коленях, а Василич его гладил. Иногда Жулик осмеливался протянуть лапу к миске Василича, и тогда он приговаривал: «Жулик ты, настоящий жулик». И не сердился на него, а даже будто восхищался его смелостью, за которую Жулик тут же получал от него награду в виде жирненького кусочка. Жулик обрастал красивой дымчато–голубой шерстью, переливающейся на солнышке, заласканный и весёлый он, подпрыгивая, бегал по всему лагерю, за бабочками и стрекозами, подружился он со всеми другими животными обитателями, и вместе с ними встречал нас после маршрутов. Василич сразу брал его на руки, Жулик устраивался у него на плечах, и они вместе, помыв руки, входили в кухню. Тётя Паша никогда не высказывала никакой привязанности к нашим животным. Моего любимого пса Аркашку она полностью презирала, потому как не видела в нём никакого толку, он был маленький и непородистый. «Кызымка весь сахар изводит на этого кабыздоха» — ворчала она. «Кабы собака была видная, а этот — страмота, всех пужается». Пару раз она шуганула Аркашку из кухни метлой. Но к Жулику тётя Паша не была так сурова. Я видела как в безумно жаркие дни наша герцогиня пускала Жулика в погреб, где он валялся среди холодных банок со сметаной. Заметила даже, что Жулик не только всегда играл с Василичем и тётей Пашей в карты, но иногда даже обмахивался веером герцогини.

В конце сезона в соседнюю геологическую экспедицию временно потребовался дополнительный рабочий, у нас уже работа была сделана, и нашего Василича они «одолжили» на время раскопок их золотых жил. В его отсутствие тётя Паша погрустнела, часто уходила из лагеря в горы, собирала букеты, вечерами на кухне раскладывала пасьянс, видно, гадала.

Прошло две или три недели тётя Паша варила нам, по-прежнему, по высшему разряду поваров. И ждала возвращения Василича. Невзначай расспрашивала проезжающих шоферов, что слышно от соседей. «Как там наш Василич?» «Работает Василич на славу. Такие там залежи бериллов раскапывают! Со всей округи рабочих понабирали. И роют, и роют… А сколько понаехало начальства! Всё обсматривают…» В другой раз от соседей прилетело несколько геологов на вертолёте. Приземлившись метрах в ста от нашей кухни, прежде всех дел они пошли перекусить, и все собрались в кухне послушать новости. Тётя Паша, как обычно, не роняя своего царственного величия, подавала еду. «Дороги деточки» уплетали лепёшки и запивали горячим индийским чаем со сливками.

«Как раскапываются бериллы?» — ревностно поинтересовался наш начальник». — «Этот пласт может оказаться одним из самых больших месторождений в Прибалхашье, конечно, не считая Акчитау», — комментировал прибывший Главный геолог. «Всё благодаря нашему Василичу», — пошутил кто-то из сотрудников. «Что ж благодаря Василичу, мы не только бериллы разрабатываем, но и полевой пир устраиваем. В конце сезона в нашей партии будет свадьба. Ваш Василич женится на нашей поварихе Моте, и в ваш отряд больше не вернётся. Наша бойкая, весёлая молодушка Мотя, — весело говорил приехавший Главный геолог, — заарканила вашего Василича!» «Да что вы говорите! Не может быть! Он такой…»

Что говорилось дальше, я уже плохо слушала, — взглянув на тётю Пашу. Лепёшка остановилась у меня во рту. Какая-то горечь солидарности меня с ней объединяла. Я была влюблена, и кажется тоже без надежды на взаимность. Кто бы видел во что превратилось её лицо, — тот бы испугался! Такое на лице человека бывает только у великих трагических актёров, играющих минуты отчаянья: у королей Лиров, ледей Макбет, людей, перекошенных безысходностью. Глаза её засверкали, вдруг она вся потемнела, будто чёрный свет изнутри пронзил всю её насквозь. Затряслась всем телом. Безумие появилось в её движениях. Она стала метаться из стороны в сторону, бросила половник на пол, швырнула тряпку чуть ли не в лицо шоферу, и как огонь, вспыхнувший в печке, выскочила из кухни.

— Как нечистая сила! — сказал Виктор вслед убегавшей.

Все несколько оторопели и замолчали, будто что-то пронеслось по кухне, не совпадающее с всеобщим благодушным оживлением, но после паузы стали обсуждать разные полевые новости и забыли тётипашины метания.

Когда я пришла, «засамая первая» на ужин, то тёти Паши в

кухне не было, миски и кружки стояли на столе ещё с обеда неприбранные и грязные, всё раскидано. Какой-то странный запах резко бросился в нос. К эвкалиптовому запаху саксаульного дыма примешивался запах палёного, будто что-то в печке горело постороннее. Вслед за мной вошёл молодой рабочий Гришка, осмотрелся, заглянул в печку и, пошуровав в ней кочергой, обнаружил, что там что-то тлеет помимо саксаула, и от этого, «чего-то» идёт такой странный запах. Гришка стал выгребать, — что там может быть, скажи? — и через несколько секунд он вытащил из печного пепла тлеющее тело обгоревшего животного. Как оказалось в закрытой печке это существо? «Борисовна, видать, Жулика зажарила!» — медленно произнёс Гришка. Он видел, как «тётя Паша, как бешеная, бежала в руках с котёнком в кухню…» И любимого котёнка Василича швырнула в печку.

Сгорел котёночек. Как бесконечный блеснувший осколочек от любовной страсти, на которую разбивается вселенная любви. Сгорело любящее сердце. Остался только пепел. Одна плоть стремилась вверх, другая — в пепел. Сожгла тётя Паша любимого, без рассуждения, слепо. Кому отомстила? И за что? Почему на котика перенесла свои чувства?

Когда я вышла посмотреть на звёзды, то в притихшей ночной степи было видно, как из тонкой кухонной трубы по небу плывёт дымчатая струйка грусти. Дым стремился наверх, чтобы в небесной вышине смешаться со звёздами и чуть–чуть их притемнить, закоптить созвездия. За человеческие века во вселенной обнаружилось множество чёрных дыр — ловушек бессмысленного дыма (по— научному — концентрации высокой энтропии) — не впускающих и не выпускающих свет от приносимого в жертву страстям. Может быть «чёрные дыры» насовсем заглотят нашу вселенную? «И пред самой кончиною мира, будут жаворонки звенеть…» А земной шар всё так и несётся, и несётся, через весь Млечный путь, мимо чёрных дыр, к созвездию Геркулеса, не замечая падений осколков от взрывов страстей у людей, его населяющих.

По утру тётя Паша не вышла к завтраку и совсем перестала готовить нам еду. Она бродила взад и вперёд, нечесаная, с обезумевшим взглядом, разыскивала по палаткам одеколон, который выпивала и, притупив свою боль и сознание, забывалась. Она ложилась возле землянки Василича и лежала часами, неподвижно, запрокинув голову и сложив на груди руки. Два камня из дайки, почти в вышину человека, стоящие около чернеющего входа в бывшее жильё Василича, подобно гранитным статуям, символизировали это живое погребение, с эпитафией: «Если ты уйдёшь, я умру». Рядом с телом тёти Паши, поджав под

себя лапы, пристраивалась лохматая рыжая собака, прозванная «Мадам», время от времени лизавшая одеревеневшее лицо тёти Паши. И молчание степи прерывалось только лёгким скрежетом зубов или слабым звуком стона.

Такого безнадёжно–стихийного состояния, такого раздирающего страдания, — когда боль везде — я ещё в глаза не встречала и не имела понятия о таком яростном выражении страстей — книги давали абстрактные представления. Не знала ещё ни о взрывах бессознательного, когда никакие доводы разума не в состоянии тебя остановить, ни о переносе зла на других… Тогда и не подозревала пределов ревности, и думать не думала, что жизнь и боль так переплетены. Вдруг так прямо увидела, как ненависть внезапно занимает место любви. Моментами появлялось чувство — подойти к тёте Паше и сказать ей что-то утешительное — меня тоже не хотят любить. Общая тоска неразделённой любви меня с ней сближала; но одновременно с притягивающей силой, другая — противоположная — отталкивала. Печальное и досадное, с привкусом презрения к нескладности, перемешивались, и я отворачивалась, и я отстранялась.

Через несколько дней тётю Пашу отвезли в Агадырь. Кухня опустела. Забытый веер герцогини Прасковьи Борисовны, собранный из перьев дрофы, с зигзагообразными чёрными полосами валялся среди кухонных предметов. Цветы из логов Кызыл–таса, свернувшиеся от недостатка воды, ветром разнесло по лагерю. Возле кухонных дверей одиноко бродила надушенная Мадам, шерсть которой долго хранила запах трагедии. И если кто-нибудь проездом оказывался в нашем лагере, то удивлялся: почему от собаки идёт такой горькоприятный запах? «Тут русский дух, тут Русью пахнет!» — отвечал шофёр Виктор.

А ещё через несколько лет, агадырская молва говорила, что тётю Пашу убил из ревности молодой буровик. Василич уехал куда-то на Алтай, один ли или с молодухой, я не знаю. Мне же с тех пор предстояло многое узнать — и о глубоком родстве всех страстей, и о том, как любовь может так далеко заходить в область ужасного, где её уже не отличить от ненависти. И самой расплачиваться кусочками вырванного сердца. Кызымке всё в смех.

Тушканчик и я

В чёрных песках пустыни Кара–кум на линии горизонта я получила свой первый практический урок — Природа и Ты. Коснулась мира пустыни, будто заглянула в зеркало, а себя в нём не увидела. Если бы меня засняли на плёнку, то получился бы — или только фон — один песок, или только моё изображение — без фона. С большого расстояния, наверно, удалась бы фотография «на фоне», но пришлось бы совершить усилие, наводить зрение на резкость, чтобы отделить меня от песка.

На гидрогеолической практике в Таджикистане в Голодной степи, студенты должны были «делать наливы» — определять коэффициент фильтрации почвы: лить воду в маленькие дырочки (шурфики) на разных поверхностях большого шурфа и смотреть за сколько времени вода просочится в землю. Практикантов развозили «по точкам» — вырытым в песках шурфам, оставляли на несколько часов для работы, а потом забирали. И вот меня привезли на «мою первую точку». Вместе со мной выгрузили большой бидон с водой, рюкзак и сумку. Козёл (наш начальник по фамилии Козлов) давал каждому строгие указания, и мне тоже: не лить воду мимо песка, не брызгаться, не полоскаться… всё измерять точно. Высунувшись из окна кабины, он ещё произносил какие-то наставления, но шофёр нажал на газ, и вой уходящей машины увёз его последние слова о коэффициентах — вместе со всеми ребятами на другие «точки».

Я осталась стоять одна посреди пустыни с громадным бидоном — жбаном воды и молотком. Стою и смотрю на контур уезжающей в сторону горизонта машины. Кажется, что все ещё тут — всех ещё можно рассмотреть — ещё могут вернуться. Но машина всё дальше и дальше от меня, и всё ближе и ближе к линии горизонта. Вот уже машина превратилась в точку, и ничего не рассматривается, ничего не различается кроме песка и неба. Замираю. Тишина стоит звенящая — с едва уловимыми шорохами молчания. Что-то чуть–чуть шуршит. Кто-то чуть–чуть свистит. Орёл— могильник? Осматриваюсь вокруг. Где нахожусь? Кругом непривычно, странно, пустынно. Незнакомый запах пустыни — горячий воздух с горьковатым привкусом пряностей — пробирается до самых ушей. Стою будто в центре идеального круга пустоты или лунного кратера с песчаными холмами. Не шевелюсь. Единственная чёрная точка вокруг, как я догадываюсь, это я. Посмотрю на небо — оно как опрокинутая сфера, отражается в земле, как в воде. Мерещатся сферы, цирки, круги. Куда попала? И зачем я тут?

Ещё раннее утро, но солнце уже прогревает воздух, и свет начинает с ним заигрывать. Согретые верхние воздушные слои переливаются как вода в нижние, а внизу — свои пристрастия к встречам холодного и горячего. Поверхности солончаков искристо дрожат и радуются, встречаясь с лучами. Тёмные породы не такие приветливые, и свет их обходит, преломляется и бежит туда, где легче двигаться. Всё колышется, искажается, движется и живёт. Воздух вибрирует, как пьяный туда— сюда, из стороны в сторону. Это и есть призрачные миры миражей? Фата–Моргана!

Жбан с водой и я с молотком стоим посреди пустыни — одни, окруженные со всех сторон звенящим пространством с плавающими в нем фигурами. Большой железный бидон с железными ручками, такой же неуместный в этом пейзаже, как и я, но он единственно родной и знакомый мне здесь предмет. Он стоит и напоминает о привычном мире — в моём деревенском детстве в таких жбанах возили с фермы молоко. Ладонью одной руки сжимаю свой геологический молоток, будто он чем-то может мне помочь, а другой глажу полевую сумку. Смотрю на торчащие, иссохшие признаки растительности на солончаковых кочках. Шершавые, изогнутые, пожухлые…, но выживающие. Чтобы сохраняться, вредно–ядовитые животные выкрашиваются в желто–песчаный цвет пустыни. Все пустынные твари: и скорпионы, и гадюки, и медянки, и гюрзы могут прятаться под крохотными камушками. Они все незаметно притаиваются, прикидываются, мимикрируют и поджидают тебя. И куда спрятаться, в какой цвет окраситься, чтобы защититься, чтобы слиться с фоном? А фаланги!? Слышала, что они весьма неприятные… Что, если…? Вдруг прямо передо мной зашевелился маленькими воронками песок, не отрываясь слежу, как воронки расширяются… и расширяются…, из-под земли кто-то вылезает… и вот уже появились два рожка с глазками. Высунувшись из песка этот «кто-то» осмотрелся, повращал рожками, увидел, что— то совсем незнакомое, но что «оно» дрожит от страха не догадался, и, не решившись укусить, опять зарылся в песок. Так делают пустынные гадюки, гюрзы, оставляя только рожки. И уже везде мерещатся ядовитые язычки, рожки, шерстистые лапки, шипящие звуки…

Как же вступать на эту зыбко–незнакомую поверхность? Не выпуская из рук молотка и не снимая сумки, забираюсь на бидон. В тишине подступившего страха сливаюсь с этим жбаном, как с самым любимым существом, будто в спасательной лодке. «Очертить бы около круг, как у Вия». Прямо передо мной шурф, вырытый рабочим, глубиной в метра два, с выкинутой из него

кучей песчанисто–щебнистой земли. Какое-то малоприятное чувство шепчет: Просто, как могила выглядит этот шурф. Да ещё этот орёл–могильник посвистывает. — А может это свист от трения щупальцев фаланг? «Оставайся дома и не иди в горы, — говорила мне мать. Зачем ты собралась?» — И правда, зачем я тут? Ни мамы, ни папы. Никого. Всего боюсь. Придумала быть геологом из желания уйти из дому, не подготовилась, захотелось мир увидеть, — вот и рассматривай! Ну, если кто-нибудь сидит в шурфе? — Не оглядывайся!

Вдруг около линии горизонта причудились несколько движущихся точек. Это дикие верблюды! Затопчут меня вместе с бидоном, и никто меня не отыщет… От отчаянья пытаюсь стучать молотком по железному жбану, думая отогнать незнакомых существ. Но эти звуки, дрожащие и глухо исчезающие в бидонной воде, могла почувствовать и услышать только я. И ведь как бессмысленно бить единственно родное существо, да ещё такое, на котором сидишь, — прекращаю битьё и опускаю руки.

Дикие верблюды или неизвестные движущиеся точки довольно быстро исчезают за горизонтом. Долго ничего не различалось и не появлялось в виду. Миражи рассеялись. Откуда-то одна за другой появились две ящерицы, от любопытства остановились и стали за мной наблюдать, а я за ними. Постояли, посмотрели и скрылись, а я осталась. Сижу на бидоне, в голове все страшные истории постепенно притупляются. Врезавшаяся в задние конечности, крышка бидона, наоборот, всё сильнее и резче даёт о себе знать и напоминает о долге. Никого не видно. «Ну, ничего, — говорю я себе, — нужно лить воду, и не нужно бояться. Зачем я геолог? Я в сапогах, и никто меня сквозь них не укусит, а землю буду трогать железным молотком». И вот уже совсем остро ощущаю врезавшуюся ручку крышки, и решаюсь слезть с бидона. Касаюсь сапогами песчаной поверхности Г олодной степи и чувствую, кто-то пробирается в носки… Нет, это колются занемевшие нервные окончания. Вытягиваюсь, опираюсь на молоток, и в скрюченном виде направляюсь к шурфу. Делаю три шага вокруг выброшенных внутренностей вырытой ямы, заглядываю в шурф и… что я вижу?! По дну шурфа бегает небольшой зверек желтовато–бурого цвета с длинным хвостом, заканчивающимся перистой кистью из более длинных волос. Тушканчик, суслик или сурок.

Положение тушканчика сразу спасло меня от собственного страха. «Чего его бояться? — подумала я, — он сам в безвыходном положении, — напоминает моё собственное. Бежал, бежал по своим делам и свалился в яму, и как из неё выкарабкаться? И если я ему не помогу, то он так и останется в шурфе до самой

смерти. Но как его оттуда вытащить? В рюкзаке у меня есть веревка, и с приступочки я её брошу, — попробую!» Я достала веревку, которой измеряется глубина шурфов и канав, сделала на конце её несколько узлов и спустилась на ступеньку шурфа. Тушканчик от моего присутствия забился в угол, встал на задние лапы, скрестил короткие передние на груди и замер. У него был такой умоляющий и просящий вид. Я бросила ему веревку просто так, наобум, совершенно не надеясь быть понятой. И каково же было моё изумление, когда он мгновенно, — я не поверила! — схватил её лапами! Я потянула его наверх, но он свалился, не удержавшись. «Какой ты сообразительный! Может быть я слишком резко дёрнула спасательный канат или слишком медленно? А может, причудилось, что он уцепился? Попытаемся снова!» — сказала я себе и бросила верёвку второй раз. И на этот раз пленник схватил верёвку пальцами, и… додержался до поверхности земли! Вот это да! Разве такое может быть! Мелкое, хорьково— сусликовское животное, без всякого разума, в жизни не видевшее ни человека, ни верёвки, никогда не сидевшее в такой глубокой яме, и так схватить лапами что-то незнакомое, несоответствующее, чтобы выжить… Инстинкт или проблеск сознания?

От внезапного удивления я просто опешила. Стою с верёвкой в руках. Но моё удивление на этом не закончилось. Оказавшись на поверхности, тушканчик встал, опираясь на задние лапы и хвост, и перво–наперво вдохнул свой родной воздух. Потом сложил передние лапы на груди и огляделся вокруг. Повернул голову в мою сторону и застыл. «Ты что, ко мне обращаешься?» — спросила я его. Тушканчик встряхнул головой и поклонился. Он благодарил меня! Сказал: — Спасибо! Я совершенно в этом не сомневаюсь. И только после «благодарения» освобождённый поскакал громадными прыжками, касаясь земли одними задними ногами, прижав передние к груди, руля хвостом с кисточкой, — не оглядываясь. Тушканчик скрылся в барханах, а я так и осталась стоять с верёвкой и удивлением. Какой урок преподнес мне маленький зверёк! Такая воля к жизни… непостижимая. «Какая у природы может быть тайна?» — допытывала сестра. Как рассказать об этом? Скажут, не мираж ли разгулялся в твоей голове? Жаль, что кроме меня, ничьи другие глаза не видели поведения тушканчика, хотя ящерицы, наверно, тоже удивились. Геологов однажды поразил медведь, пришедший в лагерь, чтоб люди сняли с его пасти банку от сгущенного молока — так долакомился, что присосал банку к морде, и собственными лапами не мог освободиться, пока не сообразил обратиться к более высокоразвитым. Но ведь то был медведь, есть даже

домыслы, что люди — медвежьи родственники, а тут у мелкотравчатого такое поведение. Чей же я родственник?

Прислушиваюсь к слабому звуку песка, падающего со стенок шурфа. Слышу, как песчинки тонкой струйкой, чуть уловимо осыпаются, кажется — они хотят произнести звуки и напомнить мне про время и обязанности. Я начинаю рыть маленькие ямки, совершенно забыв про скорпионов и фаланг. Наливаю и наливаю воду из бидона в вырытые ямочки, отсчитываю время просачивания воды в землю на разных уровнях и составляю графики исчезновения. За два часа всю воду вылила и научно определила, что вода в песке исчезает довольно быстро, и нужно много воды, чтобы оросить пустыню из бидона. Шлангом не справиться. Предполагалось разрыть арыками и каналами всю Голодную степь, воду взять у Сыр–Дарьи и оплодотворить землю, чтобы завелись оазисы, сады, и чтоб никому не было обидно. Когда-нибудь будет этот план осуществлён?

Успокоившись, что всю научную работу выполнила, что никто меня не укусил и не побеспокоил, и, привыкнув к шорохам молчания, осмеливаюсь осмотреть окрестности — пройти метров пять по пустыне до того бархана, за которым скрылся мой освобожденный. Бархан лежит, как большая песчаная подкова, волна из песка, на гребне которой завиваются песчинки. Говорили на лекциях, что барханы незаметно двигаются в сторону доминирующих ветров, — никак не понять, почему их ветер гонит навстречу себе? Хочу посмотреть, как это происходит? Что это значит, — отдельные верхние песчинки летят по ветру, а тело двигается против? Против ветра, против течения, против времени? В природе тоже есть противодвижения и разные причуды — оживающие пески, становящиеся одушевлёнными.

Я поднимаюсь на бархан и хочу дотронуться ладонью до завивающихся песчинок, но они оказываются неожиданно горячими, и неприятно попадают в лицо, показывая, что лицо нужно прикрывать, — может, так и чадра появилась? Не так просто разговаривать с пустыней, — тут свои пустынные законы. Поверхность бархана совсем голая, и только у подножья обтекаемого бархана пристроились сизо–зеленые колючие растения, свернувшиеся от сухости. Чтобы отыскать этот солененький прокорм, кому-то из животных приходится быстро и много бегать.

Куда спрятался мой знакомый тушканчик? Не даёт мне покоя проблеск сознания… у мелкого существа. А у меня? Где твой проблеск? Где твоя верёвочка, чтоб выкарабкиваться из шурфов, ям, канав, лабиринтов? Кто её подкинет? Поймешь ли за что ухватиться? Додержишься ли до конца? (Почувствовала гораздо

больше, чем можно сказать.) Смотрю вокруг и вижу по всей окружности моего обозрения без конца и края волны барханов. Они как орды из песка надвигается и всё поглощают, как бесшумнотекущее время монотонно и невидимо захватывают пространство. И эти песчаные волны прошлого, да и настоящего прикрывают и цивилизации, и тушканчиков, и всё, что с нами случается. Чувствую себя причастной к тому, что больше меня.

Для одного дня не слишком ли много испытаний?

Конечно, никаких следов от моего спасённого зверька, не отыскивается. По песку закручиваются только мелкие— мелкие смерчи. Спасённый, видно, уже давно очухался и зарылся где-нибудь в теплом песке. След его простыл. От гигантских ханских царств, дворцов, династий не найти никаких следов, — всё позади, а уж от маленького тушканчика и подавно ничего не отыскивается. Остаётся только пейзаж из зыбкого песка — как онемевшее время, ставшее здесь пространством.

«Река времён в своём стремленья уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей». Строчки Державина пришли на ум. И среди миллиардов песка кварцевого, полешпатового, тёмноцветного, рогово–обманкового, разносоставного на каждого по песчиночке. Может, всё-таки я «чуть–чуть» отличаюсь от песчиночки? А от тушканчика? Хотя всё зависит от ракурса и от взгляда на «чуть–чуть». И всё окажется совсем иным, если смотреть со стороны тушканчика или вечности…

В этот момент я услышала бибиканье машины, — за мной приехали.

И если меня в шутку спрашивали: каким зверем ты хотела бы быть? Я отвечала: Любым, только бы умным. Даже тушканчиком.

Повар Юрка

Нет, никогда, по крайней мере в нашей экспедиции, не попадалось такого чудо–повара, не виданного и не слыханного в геологических отрядах — со специальным высшим кулинарным образованием! Дипломированного! Всё–всё знающего про составы, витамины, нитраты, нуклеины, шарлотки… Повар Юрка, как мы его потом стали называть, поехал искать приключений и зарабатывать репутацию для заграничных поездок. Он попался на глаза нашему начальнику где-то в Центральной экспедиции в тот самый момент, когда нам повар был нужен позарез. Юрка произвёл неизгладимое впечатление: он знал и видел, как едят в ресторанах! Как услышал Борис Семенович про «двенадцать хрусталей», накрываемых Юркой в «Европейской» и «Астории», как рюмочка с рюмочкой… стоят на крахмальных скатертях, то — уже видел полевые жестяные кружки, звенящими хрусталями. Кто бы устоял и не пришёл в восторг от таких познаний?! Ошарашил Юрка Бориса Семеновича так, что Юрку привезли на «Бобике», как министра пищевой промышленности.

Вытаращив глаза смотрели геологи и буровики на вышедшего из машины парня в чёрных очках, в соломенной шляпе, в нейлоновой «водолазке», белых носках, не понимая: где же повар, про которого говорили по рации и обещали прислать? Высокий, видный, чернобровый парень, одетый совсем не как рабочий или бам, а как столичный светский щёголь, многозначительной походкой прошёл мимо встречавших и загадочно встал рядом с Борисом Семеновичем. Они прошли на кухню.

— Что это за фраер? — спросил кто-то из буровиков, которые выстроились в ряд, хмуро и иронично глядели на происходящее.

— Столичный повар. Прямо с Парижу… Листократ. — С усмешкой объявил шофёр дядя Вася. — Прошу любить и жаловать!

Главный буровой мастер Шмага, заядлый насмешник и остряк, быстро срежессировал сценку — показал молодому буровику валяющуюся плюшку кизяка, тот поднял, Шмага вложил её на руку парню как поднос, и тот раскачивающейся походкой, карикатурно, пошёл обходить всех по кругу, предлагая: «Извольте — шарлям–по–по!» По всей степи разнёсся гогот и радостные возгласы. Буровики предвкушали удовольствие от насмешек над новым поваром.

К вечеру ударил довольно звонкий гонг, возвестивший о начале Юркиной геолого–поварской деятельности, и все поспешили на ужин. В белом поварском колпаке, привезённом из

Петербурга, — нигде в степи такого не отыщешь, — в белой куртке с отворотами и вышитыми вензелями, с перекинутым через руку полотенцем, Юрка стоял у входа в полевую кухню, будто у ворот Букингэмского дворца! Смурной рабочий Павел, появлялся в дверях кухни всегда с одной и той же присказкой: «Прихожу я раз домой — здрасьте…», прерывался на этой строчке, а кто-нибудь из буровиков вторил: «Дома не был, а всё знаю». Это был их кухонный входной ритуал. Буровики прозвали Павла — «Здрасьте». На этот раз, увидев Юркино представление, Здрасьте только приоткрыл рот и так, оставив губы не сомкнутыми, прошёл на своё место. Все онемели. На столах — рыба цвета оранжевых лилий в окружении молодой картошки, залитой белым соусом, и около каждой миски сложенная салфетка! Юрка зажарил живую рыбу, привезённую вместе с ним из Балхаша, как он выразился, «способом фри». Никто слыхом не слыхивал про такие чудеса и названия. Перед такими мудрёными словами и от такого великолепия буровики неожиданно притихли, почти ни о чём не говорили, и не отпускали своих обычных «обеденных» ритуальных шуточек: «Снизу пожиже, сверху пожирней… Уйми жевало!… Пробуксуем по каше».

Буровики вприглядку рассматривали Юрку и прикидывали: чей он? ихний? инженерный? Это был народ бывалый. Они инстинктивно раскусывали человека, по каким-то невидимым силовым линиям, и в секунду определяли и его характер, и что он, и кто он, и «из какого профсоюза»? В секунду находили кого и как задеть за живое, подразнить. Бывалые строго соблюдали «табель о рангах». Никакие справки, никакие документы, рекомендации так не верны, как интуиция бывалых, которой можно только восхититься — писателям на зависть.

Юрка прохаживался вдоль кухни с видом победителя. На похвалы: «Вкусно», «Не слабо…», «Харч вполне…» «Пища терпимая», он отвечал с безразличным настроением: «Я знаю». Будто похвалы его и не поражали, не удивляли. Однако в первый же ужин нельзя было не заметить Юркиной благосклонности к начальству. «Борис Семенович, а вот в «Астории» у нас… осетры… А вот… бланманже… в «Европейской»… Как накрою на двенадцать хрусталей…» И всё вокруг начальника вертится и всё ему подкладывает… Начальник не без тайного удовольствия принимал Юркины подношения: вот какой у нас повар!

Шутник и буровой мастер Шмага занимал первое место в буровой иерархии, он превосходно знал своё дело, перед любым начальством и геологами выглядел как распорядитель, умный, находчивый, если говорил шутки, то как-то так само собой, он обладал глубоким внутренним достоинством, ни до каких

мелочей никогда не унижался, буровики потом их подхватывали и повторяли. Авторитет Шмаги у буровиков был сравним только с авторитетом товарища Сталина у верующих и неверующих коммунистов, и они заискивали перед ним, всячески старались ему угодить. «Если бы существовало государство остряков, то Николаич мог быть там царём. Ну, а кто нынче правит?» — говорили буровики. Среди буровиков было настоящее соревнование и соперничество: кому работать на вышке со Шмагой, «с Николаечем», вроде как получить место в университете. «В тот день Николаич… одного техника с бригады Авдеева хорошо послал, — рассказывает один из буровиков, — тот не знал, где бурить, тыкает в планшет пальцем, запутался, мол, «ехать на север надо», сам — ни бельмеса, крутится в темноте… «Хочешь послать на север, а где ищешь? Тебя самого надо послать туда, где ни севера, ни юга» — сказал Николаич и быстро ему Полярную показал.» И буровики хохочут. И всё посылают и посылают… и повторяют и повторяют.

В первый Юркин ужин Шмага сидел с невозмутимым видом, и все буровики, глядя на него, тоже в основном помалкивали. Закончив чаепитие и погладив усы, Шмага пробормотал: «Фри–фри, уважил», но как-то вяло, и кличка «Фри–Фри» к Юрке не пристала. Целые сутки у Юрки не было прозвища. Но через день оно появилось. Юрка что «жалко, лука–шарлота нет в пропорции, а то бы…» «Уж так и быть для тебя с Парижу привезут, Шарлот Петрович», — произнёс Шмага. И всё. Буровики подхватили, и Юрка был назван — «Шарлот Петрович», или фамильярно — «Шарлот». Юрке понравилось его иностранное имя, и он на него с удовольствием откликался, будто на княжеской титул, и буровики баловали им Юрку, пока не съехали на другое место.

Своим мистическим образом буровики сразу приняли Юрку в свою компанию, несмотря на Юркино заискивание перед начальством и столичный вид. И не злились на него, что он на них не похож. Чем Юрка им потрафил? Наверно, незлобивостью — на все шуточки он только добродушно улыбался. И хотя они подсмеивались над ним: «Шарлот Петрович, ты как кальсоны на ветру», — мол, и нашим и вашим, но в момент с ним сошлись. С первого же дня буровики стали с ним запанибрата, молодые из них повадились сидеть на кухне и слушать Юркины байки и истории. Что бывает… «В Астории мраморами всё покрыто. По стенам картины с цветами. Лакированные полы блестят. Фарфоровые вазы по углам… Генералы в эполетах сёмгу… трюфеля… А в Париже едят голубей… В Индии змеи слушают музыку… Есть собаки, которые разговаривают будто люди… А на Памире водятся снежные люди…»

В Юркиной лёгкой болтовне было что-то одурманивающее. Шмага иногда одобрительно говорил: «Складно говоришь, парень!» Кухня превратилась в клуб, который шофёр дядя Вася прозвал: «Монте–Карла». Как только геологи покидали кухню, туда стекались новые Юркины приятели. Они болтали, играли в «дурачка», и из кухни раздавались известные картёжные присказки вместе с лёгкими перебранками.

«Монте–Карла играет!» — усмехался дядя Вася.

Заметив Юркину «вхожесть» в высшие сферы и благосклонное отношение начальника, буровики и рабочие сразу начали использовать Юрку в переговорах с начальством. Юрка стал вроде посла. «Борис Семёнович, есть дело тысяч на пятнадцать…» — нараспев произносил Юрка, и это означало, что у буровиков есть просьба: или чтоб днём раньше их отпустили в Агадырь, или разрешили взять машину для калыма, или ещё чего-нибудь. Посол в белом поварском колпаке никогда не выражался непристойно, а наоборот, любил щегольнуть грамматическими выражениями, которые он собирал. У него была особая тетрадь, куда он записывал интересные слова. Были среди них любимцы: промблема, пропорция, инградиент, соотношение… И Юрка украшал ими свою речь к месту и не к месту. Буровики считали Юрку грамотным, слушали его басни с открытыми ртами — и про знаменитые «двенадцать хрусталей», и про то, как Юрка видел в «Астории» адмирала, который «заказывал в пропорции трюфеля, сёмгу…» и везде был, и всё на свете знает». «Ну, и врать ты, Шарлот Петрович!», «Сущую правду говорю, адмирал с лампасами… водку пил». «Интересно — в женской бане». — комментировали Юркины присказки буровики. «Давай, как осетра перевели на корюшку!» «А ну, как девчонку чуть не зажарили!» Нравилась буровикам история, как у Юрки на практике в ресторане «Нева» Юркины однокурсники посадили в автоклав девчонку, «потому как маленькая была». «Ну, и чего?» «Ничего, выпрыгнула… крохотная такая, в соотношении автоклава».

Рыба первого дня Юркиного творения была божественная — только боги на Олимпе могли есть такое. На Олимпе мы просидели почти трое суток. Прослушали и про хрустали в ресторанах, и про шарлотки, и про всяческие мудрёные кушанья. Увидели как артистически Юрка резал и крошил — картошка, лук, овощи сами ползли под Юркин нож. Нож повисал почти неподвижно над потоком овощей, которые Юрка быстро двигал другой рукой. «Шарлот! — Артист! — Листократ!» — восклицал дядя Вася.

Ещё сидя на Олимпе, все узнали романтическую Юркину любовь к Верке, о которой он время от времени вспоминал. Юрка

так простодушно–откровенно рассказывал, как приворожила она Юрку в кинотеатре «Октябрь» жестом откидывания шубы. «Верка. Глаза большие. Шуба с узорами… Из белой мерлушки… Назад плечами… Как откинется… Крылья шубы на кресле! Я смотрю. Она молчит. Всё плывёт… Колонны…» — глаза у Юрки при этих словах прикрывались, губы мечтательно складывались и, не выдыхая воздуха, он блаженно замирал. В этом блаженном состоянии произносил непонятную фразу: «Такой взлёт! И вот такая пропорция», — глотал воздух и вздыхал: «Верка–принцесса!» Потом, откидывая грязное полотенце, болтающееся у него на шее, садился рядом с лоханкой и показывал Веркино царственное движение: «Вот так!» Встряхивал головой и плечами, имитируя поразивший его жест, которым завлекла Юрку принцесса в белой мерлушке. Дальше шло развитие романа с любовными ресторанами, танго, напевами… И загуляли… Где-то теперь она?

Юрку сразил жест — величественный поворот головы, — «и через плечо поглядела…», но ещё разительней была реакция буровиков на Юркину любовь. Вижу их сидящих… Грязные, замасленные, дикие работяги, половина из которых ни писать, ни читать не умеющая, — кажется, какая там романтика! Какая любовь! — они замирали от неподдельного Юркиного откровения, без малейшей примеси пошлости, не зубоскалили, не кривлялись, забывались, и были такими довольными, как просветлялись. Один допризывник из бригады Шмаги выдвигался вперёд, его лицо сияло такой наивной, восхищённой радостью, если Юрка вспоминал про свою принцессу — Верку, и смотрел на Юрку так, будто Юрка и есть — принцесса. Много воображения, к сожалению, мало принцесс. (Сейчас подумала, что в каждом человеке есть некое пространство или способность к прекрасному. Опять же, кажется, всё тот же господин Кант об этом писал).

На третьи сутки мы спустились с Олимпа в консервное царство, в котором Юрка тоже был не последний — за время, пока все мыли руки, харч, как выражались буровики, был уже готов. Особенно быстро Юрка намастырился готовить макароны по–флотски — быстробыстро накидает в кипящий котёл макароны, перемешает с консервами, припустит три–четыре луковицы, томат, перец и… к столу. Всё… «Кушать подано!» В три секунды готов и суп — с теми же составляющими, «инградиентами», но плавающими в воде.

Каждое утро можно было видеть, как Юрка, выскочив из своей палатки, на ходу протирая глаза, бежит к кухне, как ошалелый. У дверей кухни одной рукой натягивает портки, а

другой колотит в гонг, чтоб все уже торопились на завтрак. А на кухне, как говорится, конь ещё не валялся. Но со скоростью пули кизяк швыряется в печку — пламя взлетает, — казан макарон стоит готовенький… И запах свежей, горячей пищи несётся по всей окрестности. «Исть подано!» Уж тут не до колпака и куртки. А нашим мужчинам и нужды мало до кухонной красоты и Юркиного внешнего вида. Они, потирая руки, всегда тянулись к еде.

Чудом своего образования — умением всё, что ни есть сбрасывать в котёл, вместе с незлобивостью Юрка пришёлся всем по душе. Юрка так быстро окунулся в полевую геологическую жизнь и приспособился, будто всегда только и ездил в экспедиции, будто всех знал с самого рождения. Много ума не нужно, чтобы понять, что приготовление блюд из консервов не сравнимо с вознёй с живым бараном и всяческой дичью, и Юрка, если покупали барана, старался не замечать привезённого, — пусть себе гуляет на привязи. И только после того, как баран выл на весь лагерь, и скрывать барана становилось невозможно, Юрка вынужден был повозиться с мясом. По Юркиным кулинарным законам первые три дня после убоя, никто ничего мясного не должен отведывать, ибо необходимо было вымочить баранину в сыворотке, чтобы отбить специфический привкус. Он с презрением смотрел на наши простые мясные замашки, что всем сойдёт и без сыворотки. Насладившись своим величавым презрением, уж тогда он — была ни была! — зажаривал большой окорок баранины на противне, на берёзовых лучинках, поливая собственным её соком. Или делал жаркое, «огарнировав в пропорции луком–шарлот», случалось и такое, — поджаривал шашлыки во фритюре. Побаловав экзотическими блюдами, Юрка стремился поскорее от барана избавиться, не тратить время на кулинарные изыски, «какая разница, всё равно всё съедят», «забывал» барана на солнышке и быстро переходил на консервы.

— «Юрка, отчего это у тебя баран так скоро израсходовался?» — спросит его шофёр дядя Вася. «Отчего? — отвечает простодушно, улыбаясь, Юрка, — барашек один, в пропорции к желающим, что от него хотеть… не вечный».

Не только буровики моментально приняли Юрку в свою компанию, но и собаки тоже. В лагере была целая стая собак, которые сбегались со всей округи пожить на геологическом довольствие. У каждого среди этих бродяг были свои любимцы и поклонники. Юрку собаки полюбили, как родного отца, видно, они помогали ему в сокращении запасов баранины. Всё собачье население в основном вертелось около кухни, и неизменно следовало за Юркой, если тот покидал пределы своего царства.

По собакам можно было определить Юркино местонахождение. Они сидели и ждали Юркиной благосклонности. Но ласковей всего Юрка был с псом прозванным «Василием Ивановичем». Этот пёс ростом был больше телёнка, если он вставал на задние лапы и клал лапы Юрке на плечи, то был одного с ним роста, светлопепельный, можно сказать, блондин с голубыми глазами, неизвестной породы. Смесь волкодава с болонкой, потому как хоть и сильный, но трусоватый: если видел стадо коров, приближающееся к лагерю, то лаял для приличия, и не самый первый бросался в бой на коров. Но среди собак, благодаря своей устрашающей внешности и Юркиному покровительству, он занял ведущее положение. Василий Иванович не отходил от Юрки, лизал его в лицо при каждом удобном случае, смотрел на Юрку наивно и чистосердечно, и в его глазах светилась такая преданная любовь, которую и называют «собачьей».

Одним днём мой маршрут пролегал совсем близко от лагеря, и я вернулась за пикетажкой–дневником. В лагере было тихо и пусто, только со стороны кухни слышалось какое-то шебуршание. Приблизившись, я увидела, что Юрка кормит собак остатками с геологического стола. Собаки завтракали во главе с его любимцем — Василий Иванычем. Задрав хвосты и наклонившись, они стояли в кружок и все вместе спокойно чавкали. Только один Шпион, как всегда, сидел в кустах и печально подсматривал, когда бы ущучить подходящий момент и урвать что-нибудь тайное. Я остановилась посмотреть.

Но каково же было мое удивление, когда я разглядела, что они ели из наших мисок! Они облизывали наши миски. Василий Иванович, как «Серый кардинал», негласно командовал — время от времени указывая мордой каждому сотрапезнику его собачье место, если кто-то из них забывался. Только они вымыли первую партию мисок, как Юрка подбросил им новых аппетитных мисочек, — все гости приятно разволновались, высунули языки, и пошли опять зализывать каждую поступившую миску до полнейшего блеска. По лагерю шёл ритмичный чмок, неожиданно дополняемый звуком встретившихся мисок, будто звоном от литавр. Видно, люди позаимствовали это собачье изобретение, введя в оркестр встречу двух тарелок. Вычищенные, блестящие, как зеркала, миски Юрка собирал стопочкой и уносил обратно в кухню. Происходил мирный обмен. Когда он вынес большой казан, из-под мясного жаркого, то едоки начали было ссориться, но громадный Василий Иванович одним рыком прекратил все недоразумения и засунул свою морду в казан, никому не давая подступиться. Маленькую собачонку Милку–подхалимку, которая попыталась тоже пристроиться к вкусненькому, он шуганул так,

что она заскулила и отбежала в сторону. Мыть казан, видно, было привилегией Василия Ивановича, остальные находились на подсобных работах и верещали вокруг и подлизывались. Рыжая Вита, хитрющая собака, стояла около кухонной двери с жалобно–просящим видом и, улучив момент, когда Юрка замешкался, прошла на кухню, наверно, чтобы посидеть прямо за столом и насладиться человеческими местами. А может, она участвовала в мытье вмазанного в плиту большого казана, где варилось мясо, добившись у Юрки особой милости? Я не видела и не знаю. Постояв до окончания собачьей трапезы, когда некоторые из участников званого завтрака уже начали расходиться, я пошла по своему маршруту, никем не замеченная. Как только я поднялась на сопку, Юркины помощники Трошка, Тимошка и Милка примчались ко мне, облизываясь, чтобы сопровождать меня. Всю посуду они уже вымыли. Что я им могла сказать? И как им объяснить, что нехорошо питаться вместе с геологами и откушивать из человеческих мисок? Поймут ли собаки, что люди от них отличаются? И отличаются ли?

У Юрки была неизменная любовь не только к собакам, но и к начальству. Как только он замечал, что к лагерю приближается «Бобик», то моментально бежал в своё царство, облачался в белую куртку с вензелями, надевал поварской колпак, перекидывал полотенце через руку и выбегал встречать. И совсем неважно, что это не его начальники, при виде Главного у него нажимались уважительные клеточки в мозгу, и он обожал принимать любое начальство. Он усаживал приехавших на кухне и весь превращался в желание, хоть чем-нибудь услужить, вся его фигура, движения, лицо принимали сладостноугодливый вид. И Юрка начинал разворачивать спектакль, в котором он был и режиссёром и главным актёром. «В некотором роде с дороги нужно подкрепиться…» И он вытаскивал из погреба какую-нибудь диковинку, припасённую им для этого случая. Если не было под рукой рыбы–фри, то был холодный яблочный настой, шашлыки или язычки молодых барашков, вымоченных в винном соусе (такое мудрёное блюдо Юрка хранил в своих запасниках). Подача на стол сопровождалась присказками о «двенадцати хрусталях», какие он накрывал в «Европейской» и «Астории», о правилах ресторанного этикета, о чудесах автоклава. Окончательно он прибивал посетителей неслыханными названиями:

«Обланжировать». «Шнель–клопс!» «Стуфат по— итальянски». И затем шёл последний ошеломляющий аккорд: «А пробовали ли вы аморетки?! Завиток грудинки с шарлотом?» Юрка ловко манипулировал тремя–четырьмя экзотическими названиями, услышав которые любой начальник и неначальник становился

тихим и податливым. Погрузив человека в онемение, достигнув желаемого эффекта, Юрка царил. Это были часы его наслаждения. Лицо Юрки делалось снисходительно–благодушным, — выражало что-то вроде превосходства. Показав свою кулинарную драматургию, он приступал к следующему действию — обрисовывал перспективу всей нашей геологической деятельности, осведомленно рассказывал, что открыли, что разыскивается, у кого какой маршрут, где роются канавы, какие перспективы. «Борис Семенович считают, что вот они скоро золото найдут. В кварцитах. Нет промблемы. На Октау. Там роют и бурят. Три буровых установки». Человек выходил, потрясённый всеми Юркиными знаниями, пропорциями, и особенно кулинарными изощрениями. Один геофизический руководитель так повадился наведываться, что кажется менял все свои планы, только бы постоять около нашего лагеря своим отрядом, чтобы попитаться у Юрки. А если случалось, что кого-то не трогали Юркины изощрения, то Юрка не сомневался, что прибывший — не слишком высокого звания. Какой уж там начальник, если «они в инградиентах не разбираются…», «им нужно попроще».

Нашего начальника Бориса Семеновича Юрка с первого дня окружил нежнейшим кулинарным почтением, подкладывал самый увесистый кусок баранины, подливал всегда самый прохладный напиток, добавляя полусладкую улыбку и наивно–чистосердечное восхищение на своём лице. Подобное выражение можно увидеть на картине Ларионова «Лакей». Уж не с Юрки ли писал художник? Но где увидеть растворение всего Юркиного тела и ног, и рук? Он исчезал естественно — не мог иначе. Никакие сомнения, никакие страдания его не мучили. И хотя сравниться с ним в угодливости исчезновения могут многие, но ведь люди заискивают для карьеры и выгоды, а Юрка бескорыстно, просто так — врождённо. Повод угодить — как шанс проявления натуры. И не удивительно, что Юркино подобострастие не было противным, как можно наблюдать у других людей. Юрка разугождался перед Борисом Семеновичем так, что тот перед Юркой благоговел и даже слегка смущался. Случалось, что Юрка, не успев разогреть макароны на ужин, подавал их холодными, но при этом учтиво кланялся: «Извините, — забегался!» Юркину причину наш строгий начальник считал уважительной и жевал неразогретые макароны, чуть его пожурив. Как-то я не захотела есть холодный ужин, и Юрка удивлённо произнёс: «Они мои извинения не принимают!» Он не сомневался, что извинения заменяют ужин и снимают его провинность. «Они» идут, «Они» в душе…» — так говорил Юрка во множественном числе про одного из тех, кого выделял. «Они» — для Юрки —

начальник, Главный геолог и я, как единственная женщина. Студенток Машу и Элю, бывших на практике, Юрка не учитывал, как не имеющих никаких прав. В кухне Юрка старался не убирать, не мыть, не чистить, — ему было не до этого, его больше привлекали карты, валянье, праздность. Постепенно всё тускнело, покрывалось слоями пыли, белое превращалось в чёрное.

Чтоб меньше видеть разных кухонных неприглядностей, я садилась спиной к главному Юркиному чудодействию — печке. Случайно заезжающие чистюли женского рода, после появления в Юркином княжестве, не осмеливались отведывать изысканных шарлотов. Никто, конечно, не догадывался, что собаки всё-таки мыли посуду, и она была вылизанная — но общая запущенность висела в воздухе. Над казаном Юрка развешивал разные сушильные вещи, я не буду перечислять какие, чтоб не вызывать излишней брезгливости, только скажу, как однажды во время обеда в казан с кипятком свалился сапог рабочего «Здрасьте». Юрка, хоть бы что, с независимым видом, будто достаёт кусок бараньего бока, вынул сапог и продолжал разливать чай. Шофер дядя Вася напиток забраковал: «Что Юрка, ты себе в голову забрал? Куда это годится, поотравляешь всех!» — «Ничего из этого не будет, — возразил убеждённый Юрка. — Это — чистейший кипяток! В кипятке, я знаю, любой микроб помирает». — «Юрка, полно чепуху молоть, я тебя, окаянного, самого в кипяток посажу! И все поглядят, как микроб помрёт», — ворчал дядя Вася, единственный Юркин оппонент. (К этому времени буровики нас уже покинули). «Юрка, не вешай тяжелых сапог над казанами, особенно над борщевым…» — попросил начальник.

Одним днём мы несколько задержались в маршрутах и к обеду приехали чуть позже. Юрка стоял у дверей кухни с загадочно–упоённым видом, прижимая к груди перекинутое белое полотенце к белой куртке. Такой белизны одежд мы давно не наблюдали на Юрке, разе только в первые дни. Руки будто в белых перчатках — отмыты, и можно было заметить их красивую форму.

Ноги, всегда сливающиеся по цвету с тапками, выделились и заблестели. (Маша до этого момента думала, что Юрка носит носки.) На голове, вместо намотанной тряпки от солнца, появилась уложенная шевелюра волос, то ли от крема, то ли от воды, но волосы вились и блестели. Стоит Юрка, — не узнать, — просто пиши картину. В самой кухне ещё интереснее. Все полки застелены, окурки убраны, пол вымыт, покрыт свежесплетёнными ковриками, на столе букеты из причудливых растений Кызыл–тау. Вместо паутины по углам развешаны пучки лука, яблок, моркови неизвестного происхождения. Всё блестящее, развешанное. От

чистоты кухни темно в глазах, переглядываемся от неожиданности и не знаем, что же происходит?

— Юрка! — спрашивает дядя Вася — ты что, ума рехнулся?! Что с тобой?! Чистота, как при коммунизме! — Юрка небрежно, загадочно с ухмылкой отвечает:

— По крайности, будет сохраняться такая пропорция! Промблем нет… инградиенты присутствуют… На двадцать хрусталей, пожалуйте!

Рабочий «Здрасте» как всегда, войдя, разинул рот для входных слов, но успел только промычать: «Захо–жу…» — огляделся вокруг, прищёлкнул языком и с незакрытым ртом сел на место. И только после того, как другой рабочий Стёпа, с небрежно–равнодушным видом произнёс: «Вчерась с Балхаша женская бригада причалила…» стала проясняться возникшая чистота. Оказывается, рядом с нашим лагерем за сопочкой расположились палатки работниц из Балхаша, приехавших косить сено для зимнего прокорма коров. Пока все геологи были в поле, Юрка, судя по результатам, развернулся всем своим столично–охмурительным театром перед сенокосницами, и мы снова поднялись на Олимп. «Долго девки будут вокруг тебя танцевать?» — шутил дядя Саша. «Гляди, не отгоняй… пущай водятся…» Во всяком случае и на другой день «сохранилась такая пропорция». Вместо собак Юрке стали помогать сенокосницы, которые не только мыли посуду и кухню, но чистили, крошили, носили, резали, квасили, солили. Он же только повелевал. Юрка зажил, как фараон или фон–барон, и мы вместе с ним. После того как он использовал щётку, как волшебную палочку, весь его облик преобразился. Юрка приосанился, брови выделились и очертили коричневые глаза, — всё выражение лица изменилось. Вечерами он вместе с рабочими, которые тоже подтянулись в своём обличии, с разрешения начальника приглашали сенокосниц развлекаться, играть в карты, кататься по степи. На глаза геологам Юркины поклонницы не попадались, они были призрачными существами, и о них мы ничего не знали, только изредка их профили выступали на вымытом кухонном окне, мелькали в отдалении плечики, косыночки, силуэтики, слышались смешки и взвизги, долетали иногда обрывки невнятных фраз: «Ой, посмотрела, начальничек-то… Какие они камни таскают… Сам–вылитый Парфёнов. Отпад…» Они говорили на жаргоне и употребляли неинтересные, расхожие слова. Пару раз за столом кто-то из геологов спросил у Юрки о сенокосницах, но в ответ ничего вразумительного не получил. «Да, вот тут радикально на покосе…»

Что-то служило границей между мирами сенокосниц и

геологов, кто её проводил и кто был незримым руководителем — осталось загадкой. Юрка готовил кушанья, будто каждый день был праздник, и мы старались не вспугнуть неожиданного счастья — никаких вопросов и никаких шуток, и только шофер дядя Вася время от времени отпускал лёгкие двусмысленности, которые доставляли Юрке удовольствие. Чего только мы не напробовались! Все «хрустали» были пущены в ход вместе с научно–поварскими знаниями. Я не могу перечислить всех запасов варенья, квашения, тушения, соления, приправ, всего, чем заполнилась наша кухня. В погребе и роднике не хватало места для охлаждённых продуктов. И вот в эти сенокосно–олимпийские дни Борис Семёнович решил созвать совещание геологов всего округа на нашей территории, чтоб поразить геологический мир не только открытыми месторождениями, но и Юркиной кухней. Сенокосницы под командованием Юрки неделю готовили это торжественное событие, кажется, они перестали косить сено, а всё рабочее время проводили на кухне, откуда широко разносился Юркин голос про шарлот и бланманже, стук ножей и Юркино пение: «Я — цыганский барон, у меня много жён…» Окружённый отрядом прислуживающих, Юрка развернулся в полном своём величии. Машина ездила несколько раз в районный центр Актогай — привозила необходимые «инградиенты», геологи–охотники выезжали на ночную охоту, Юрка что-то приносил и уносил из камералки, заговорчески шушукаясь с начальником. Шло приготовление банкета.

Как и предвиделось, соединённые усилия Юркиных изощрений и открытие золота на горе Октау изумили приехавших. И если золотые запасы должны ещё разведываться и доказываться, то банкетные блюда не вызывали ни у кого сомнений вкуснотой и необычностью.

Дичь, фаршированная яблоками, жаренные дрофы с соусом из помидор и шампиньонов, шашлыки… Разве кто— нибудь из нас до этого пробовал изделия с серебряной закваской? Никогда Казахский мелкосопочник не слышал, чтоб запасы его серебра использовались в кулинарных целях. И степи Казахстана никогда не слышали столько комплементов их геологическим богатствам — и правда, тут представлена вся таблица Менделеева.

Успех Юркиной кухни подействовал на нашего начальника так, что Юрка мог потом нас вообще не кормить, всё равно Борис Семёнович чувствовал свою от него зависимость, — вроде как Юрка повлиял на высшее признание его геологических заслуг. Тут впервые мне пришла мысль, что банкетное оформление совсем не последнее в продвижении.

Хорошие дни с сенокосницами закончились, спустя неделю

после банкета, (отсчёт нашего времени стал исчисляться «до» и «после» банкета) вся бригада невидимых красавиц уехала в Балхаш, а мы вернулись в своё обычное расписание, храня воспоминания о вкусных обедах и чистоте. В эти дни наш лагерь навестили два важных геолога из Москвы, занимавшиеся редчайшими, секретными металлами, изучавшие закрытую территорию полигонов Казахстана. Они приехали на новеньком «Бобике» с шофером, приборами, рацией, антеннами, установками. Юрка, пока гости умывались, молниеносно приоделся, и в белом колпаке, с перекинутым через руку полотенцем, с шёлковым платочком на шее появился на сцене. Усадив гостей под тентом, он по привычному этикету, с чрезмерной учтивостью принялся их угощать кушаньями вместе со всеми своими присказками. В секунду на столе появились запасы солений, тушений, варений. После первого акта угощения с убийственными названиями наш Шарлот Петрович перешёл ко второй части представления, в которой тоже показал полную осведомлённость и мастерство. «В докембрийском фундаменте нашли бериллий, около Актогая, там и роют…» Юркины щедроты и театральное представление произвели сильное впечатление на московских геологов, они уважительно и восторженно смотрели на Юрку. «Какие дарования у людей… У ленинградцев и повара — кандидаты наук!» Но приехавший шофёр не разделял восхищения своих начальников и смотрел на Юрку со снисходительным безразличием. Несколько раз небрежноревниво взглянув на Юрку, он казалось, раздумывал: каким бы приёмом потеснить Юрку на пьедестале? Пока Юрка сдвигал посуду, москвич закурил сигарету и, бросая беглые взгляды по сторонам, спросил: «Ты ведь не знаешь, где мы бываем?» Юрка не любил, когда он чего-то не знал, но тут ему ничего не оставалось как молчать. Шофёр после некоторой паузы значительно сказал: «В Сары–Шагане.» От слов «Сары–Шаган» Юрка насторожился и впился взглядом в шофера. «Казахи баранов там не гоняют… там Макар телят не пас… Там токо ракеты летают. Ведь мои профессора уран для атомных бомб разыскивают». Юрка не в силах справиться с любопытством от поразивших его слов «уран», «бомба», побросал все миски и ложки куда попало и сел на скамейку прямо напротив шофёра. «Наш— то уступает место москвичу». — тихо заметил дядя Вася. Московский шофёр несколько секунд сохранял неподвижность, а потом опять, обведя всех прищуренным глазом, продолжил: «И вот третьего дня все втроём заехали мы туды, где ни одной живой души — на тыщи километров никогда не было. Всё по степи едем. Кое–где маленькие сопочки попадаются. Профессора меряют радиацию

приборами и трубами. Едем себе и едем. Вдруг прямо перед машиной, метрах в тридцати, стоит существо. Прямо передо мной! Я аж, остолбенел и кричу: Глядите, обезьяна! И тут они увидели, главный Миша крикнул: Медведь! Второй Володя стал торопить меня: «Гони, Василич, это что-то редкое!» Я нажал на газ что есть силы, секунда— две… «Оно» мгновенно исчезло за сопкой в ковыле. То ли медведь, то ли обезьяна? Я погнал машину наверх сопки, может, догоню? Но нигде, никого уже не было. Чистая земля, ковыль и ничего больше. Степь. Пустая степь. Ветер только гуляет. Сколько ни смотрели во все четыре стороны — никого нигде. Смотрели и спорили: кто же это был? Верблюд? Иль медведь? Иль обезьяна? Нас было трое в машине, все видели разное. «Оно» точно стояло на сопке, но только мы приблизились, как провалилось». Тут шофёр, помолчал и с усиленным шепотом провозгласил: «Я думаю, что это и был тот самый «Снежный человек», которого ищут… Его по–научному называют Йети… Я сам видел…» На лице москвича появилась довольная улыбка, потому что он поверг Юрку в полное изумление. Нельзя было узнать нашего повара, он сидел неподвижно, остолбенело, боязливо озираясь, губы застыли в одном положении. Ко всем Юркиным достоинствам присоединялся ещё и интерес к разным страшным историям, он хотел сверхъестественного и обожал всякий возвышенный вздор. Московский шофёр, увидев эффект своего представления, пошёл такое рассказывать о Снежных людях и чудесах, что Юрка сидел с открытым ртом до тех пор, пока все геологи не вернулись из маршрутов. Юрку переполняли изумление и страх. Шофер дядя Вася тут и вправду решил, что Юрка «чокнулся», потому что Юрка боялся выйти их кухни за сметаной к роднику. «Снежная Баба в ковыле тебя прихватит!» — смеялся дядя Вася, когда Юрка открыл дверь в погреб. «Йети… её звать!» И хотя Юрку поначалу забрал страх, но жуткое любопытство, желание увидеть Снежного человека не давало ему покоя. «Сам видел…»

«А как далеко отсюда до Сары–Шагана?» — Это таинственное название он давно уже знал и запомнил. — «На Памире, я знаю, следы огромных лап от древнего человека нашли».

Несколько дней стояла изнуряющая жара. Я осталась в лагере, у меня был «камеральный день» — нужно было привести все записи в порядок. Юрка, когда все уехали, не пошёл спать, а забрался на крышу кухни. Что он там в такую жару собирался делать? Накануне он попросил бинокль у нашего начальника и, видно, захотел осмотреть окрестности. Не знаю сколько времени он всё разглядывал, но вдруг раздались Юркины крики:

— Вижу! Смотрите! Сюда! Идёт! — оживлённо–радостно орал

Юрка.

Выглянув в окно, я увидел: Юрка бегает по крыше и знаками призывает меня присоединиться. «Сейчас Юрка свалится с крыши, да ещё угодит прямо в котёл с борщом, нужно скорее подойти», — подумала я и вышла.

— Вон, глядите! — показывает мне Юрка рукой в направлении сопок, где показался кто-то шевелящийся. Пятнышко увеличивалось и приближалось. И без бинокля можно было разглядеть, что это большое животное, которое спустилось в лог и скрылось.

— Лошадь, — сказала я и вернулась к работе. Но минут через десять мои занятия прервал жуткий шум. Собаки лаяли вместе с Юркиными криками благим матом, и разобрать можно было только, что случилось что-то страшное. Может, Юрка с крыши упал? И я вышла из камералки. Неистовые Юркины возгласы прекратились, и я увидела, что Юрка лежит на крыше с ружьём. Каким образом ружье оказалось рядом с ним? Юрка не издавал ни звука и, прижавшись к крыше, смотрел в сторону кухонного бурьяна. В зарослях около кухни «что-то» бродило в сопровождении собачьего лая. Шум из кустов шёл страшный, сухие саксаулы хрустели так, будто бы по ним проходил танк. Поверх приземистых корявых стволов я увидела два странных красновато–серых треугольных пятна, будто плывущие по волнам, и похожие на шляпы каких-то существ.

Юрка полностью прижался к крыше, его совсем не видно было ни живым, ни мёртвым. Вдруг ружье у него выпало из рук, покатившись, упало на землю, но не выстрелило. Всё случилось так быстро, что я едва могла опомниться — около кухни стоял громадный верблюд, всем своим видом высказывая пустынное величие, оттопырив нижнюю губу и размахивая пучком волос на хвосте. Он презрительно смотрел и на собак, и на всё вокруг. Большие собаки под предводительством Василия Ивановича бессмысленно вертелись и лаяли около, но близко к верблюду не подбегали. Собаки среднего размера гавкали шёпотом и стояли во втором круге окружения. Мелкие прятались по кустам и подвывали, а самые маленькие собачонки вместе с большой, но трусливой Милкой уже давно спрятались и только беззвучно открывали рты. В собачьем сопровождении верблюд проплыл в сторону нашего родника. Юрка, видно думая, что он съест все его запасы и приготовления, спрыгнул с крыши, схватил метлу, собранную из прутьев и решил отогнать пришельца. Он подкрался к верблюду, прикрываясь метлой и Василием Ивановичем, который вёл Юрку к цели, пихнул верблюда метлой в бок. Верблюд даже ухом не повёл. Он спокойно пил воду, встав

на свои мозолистые колени. Получив от Юрки второй раз метлой в тот же самый бок, он махнул хвостом с пучком из длинной шерсти, да так, что задел Юрку по носу. Обмахивание веером из верблюжьей шерсти вдохновило нашего героя на новое нападение, которое осталось со стороны верблюда тоже безответным. Никакого дела верблюду не было до Юркиных приставаний. Он спокойно продолжал пить и не шевелиться.

Говорят, что верблюды могут выпить про запас вёдер пять, и месяцами хранить выпитые запасы в желудочных ячейках. Этот верблюд минут тридцать припасал себе воду для дальнейших походов. Юрка заходил то с одной стороны, то с другой и колотил верблюда метлой, а тот в ответ только махал хвостом и не собирался никуда двигаться. Никак не подступиться! Тогда Юрка решил помириться с верблюдом — приблизился к верблюду вплотную и уже погладил его, всё-таки животное большое и величественное, постоял рядом и, видно, вздумал покататься на нём. Только занёс ногу, как верблюд повернулся мордой к Юрке и выпустил изо рта пузырь— плевок, который пролетев мимо Юрки, попал прямо в морду Василия Ивановича. Пёс трусливо сжался и беззвучно разинул рот. Юрка отпрыгнул в сторону, однако второй верблюжачий плевок его достал, упав прямо на относительно белую Юркину куртку. От третьего плевка Юрка уклонился с некоторой скоростью и, боясь быть заплёванным, покинул место сражения вместе с метлой и Василием Ивановичем. Было слышно, как Юрка переругивался со своим любимцем. Верблюд встал, ничего Юркиного не отведав и даже не понюхав, плюнул ещё несколько раз в разные стороны, на случай появления врагов, и спокойно отплыл в степь.

Одичавший верблюд в Юркином рассказе перерос в таинственное существо, и уже не верблюд приходил в лагерь, а неизвестно кто, может, даже и Снежный человек? Слова его были такими невинными и правдивыми, Юрка так искренне хотел чего-то необыкновенного, что чудо увеличивалось и увеличивалось. И скоро он сам уже верил, что видел самого настоящего Снежного человека. Рабочим особенно нравилось склонять слово «йети» с разными приставками и суффиксами и поддразнивать Юрку.

Конец сезона, недели три, мы провели в выбросном лагере посреди голой–приголой степи, около источника, вытекающего из трещины чёрных базальтов, окружённого карликовым дубняком, если можно так назвать четыре полудохлых деревца. На сто километров ни одной души, ни дыма от юрт, ни единого поселения. И только ночью целое небо звёзд, которыми можно было развлекаться и узнавать их секреты. «Вон какой блестящий ковш Большой Медведицы!» Юрка, казалось впервые посмотрел

на небо, и был чрезвычайно изумлён, что там есть ковши, весы, блюдца, тарелки, рыбы… «И что там целая кухня?» — «Там и кухня и столовая. И стол накрыт — на бесконечность хрусталей, похожих на твои «двенадцать», правда, на скатерти из звёзд». — «Вы прямо так по–книжному. А что пить-то из ковша Большой Медведицы?» — с оттенком иронии спросил Юрка. «Что пить? Как говорят поэты, — Вселенную. Маленькими глоточками. А на весах взвешивать время». — «Ну, они дают!» — удивлялся Юрка, и было непонятно к кому относились его слова.

Днём в этих местах можно было слушать шум травы скитания — перекати–поле, летящей по сухой степи. Оторвавшись от корня, ветвистые стебли катились по ветру, захватывали соломины и разные пушинки и, образуя перекатывающиеся шары, придавали поверхности волнующийся вид. Казалось, что степь колышется и дышит. За этими большими шарами, гонимыми ветром, Юрка вместе с Василием Ивановичем бегали наперегонки. Все собаки, за исключением Василия Ивановича, оставались на старом месте с рабочими и новыми буровиками, и только Василию Ивановичу, за которого Юрка хлопотал, была оказана привилегия выехать вместе со всеми. И пёс поддерживал Юрку во всех его начинаниях и развлечениях. Можно было видеть, как впереди летели перекати–поле, за ними мчался Василий Иванович, прижав уши, и последним гнался Юрка в расстёгнутой куртке, чуть подпрыгивая. И ветер иногда доносил слова, как всегда, мирного переругивания хозяина с псом.

«Юрка, у тебя нет ни единого центра тяжести! Всё за ветром гоняешься. Ведь ты от собаки ничем не различаешься», — говорил во след шофёр дядя Вася. А Юрка хоть бы хны, бежал без оглядки. После таких пробежек за ветром Юрка вместе с Василием Ивановичем возвращались, как два Чуда–Юда. Острыми шипами колючие растения цеплялись к Юркиным штанам и куртке и, привлекая к себе пух, солому и всех злаковых представителей, обрамляли лохматушками его всего. Волосы у Юрки и шерсть на собаке стояли дыбом из-за перепутанных колючек. Над Юркиной головой колючки вместе с пухом образовывали чёрное облако, а на Василии Ивановиче — серое. Даже если бы они вымазались в дёгте, а потом повалялись в пуховой перине, то и тогда они не выглядели бы так элегантно, как после пробега за перекати–полем, потому что здесь на Юркино одеяние и на шерсть пса подбирались самые экзотические материалы. И пёс приближался к Юрке по необычности. «Юрка, теперь ты похож на чёрта из автоклава! Чёрт с хрустальными копытами… без корней. Бродяга», — потешался дядя Вася.

Обычно Юрка вместе с Василием Ивановичем выбегали на

гул машины, встречали всех из маршрутов. Одним днём ни Юрка, ни Василий Иванович не показались, куда-то запропастились. Особого значения отсутствию встречающих мы не придали, потому как всякое водилось за нашим поваром. Всем нужно себя немного прибрать, и тогда являться в кухню. Вот уже все собрались, а Юрки в кухне нет. Вид у кухни всегда был далёк от порядка, а тут совсем всё перепутано, ложки, миски, кружки валяются под столом вперемешку с картофельными очистками. Знаменитые Юркины поварские принадлежности: полотенце, куртка, носки разбросаны вдоль лавок, прославленный колпак из ресторана «Астория» висит на поварёшке… и едва держится, чтобы вот–вот не упасть в котёл. Туда–сюда, где Юрка? Покричали, кто-то постучал в гонг. Юрка! Заглянули в его палатку, — не спит ли Юрка, в камералку — может, радио заслушался. Нет Юрки. Пошли осматривать все закуточки. Метрах в ста от лагеря с южной стороны заметили следы пролетевшего урагана — вся степь взъерошена. В эти дни по рации предсказывали резкие порывы ветра, торнадо, смерчи. «Юрку должно быть ветром снесло, — заключил в недоумении дядя Вася. — И пёс вместе с ним улетел». Шутки — шутками, но где же Юрка?

«Здеся! Здесь!» — вдруг закричал рабочий «Здрасьте», обнаруживший Юрку в погребе, вырытом в склоне рыхлых песчаников для хранения воды и продуктов. Юрка сидел с кочергой между бочек с водой, и к нему прижимался пёс Василий Иванович. Юрка был в состоянии ступора, одеревенелый, с помутневшим взглядом, будто не ел три дня, пёс колотил зубами и поскуливал. «Юрка, что тебя занесло сюда? Оцепенел от безделья?!» — спросил дядя Вася. Юрка вместе с Василием Ивановичем не сдвигались с места, какое-то время, а когда вылезли из погреба… вот что рассказал Юрка, сбивчиво и путаясь.

Как только все уехали, он по обыкновению, залёг у себя в палатке спать. Вдруг слышит, что Василий Иванович загавкал: Ну, думает Юрка, чёрт проклятый, не даёт спать! Видно, кто-то из мелких зверей бродит, ящерицы или мыши. Скоро успокоится. Но пёс всё воет и воет, без передыха. Тогда Юрка, хоть и лень было, вышел дать псу затрещину и увидел, что уж больно темно вокруг стало. Огляделся. У пса волосы на голове поднялись. Пёс весь дрожит. И Юрка замечает, что со стороны Сары— Шагана над степью висит тёмное облако с опускающимися вниз хоботообразными выступами, которые вихрем крутятся и несутся на лагерь. Юрка говорит, что сильно испугался и побежал в кухню. Слышит, что ветер того гляди опрокинет кухню, тогда он

помчался в вырытый погреб. Посидел там чуть–чуть, а ветер ещё сильнее воет. И тут ещё пёс скребётся — ну, Юрка открыл ему дверцу. Василий Иванович скулит, трясётся. Юрка высунулся посмотреть, что же происходит?

Он увидел, что один хобот начал удлиняться и вытягиваться книзу. Вытягивается и вытягивается. И уже степь под этим удлиняющимся хоботом начала втягиваться в хобот и соединилась с облаком в одно целое. «Степь как шерсть вся поднялась, и гул идёт, будто повозка с камнями по плохой дороге едет. Рванул такой сильный–сильный ветер, что дверцу от погреба оторвало, в кухне всё попадало, бочка с душа упала и покатилась по лагерю. А за облаком неслись две воронки, слившиеся своими узкими концами, одна отверстием вниз, а другая вверх. Друг на друге летят две воронки, из одной в другую, я знаю, процеживается, из верхней в нижнюю. В нижней всё бурлит, как в автоклаве смесь кипятится.» И тут Юрка принял такой озабоченно–таинственный вид и начал такое говорить, что я должна передать всё полностью его словами: «Ну вот, по дну нижней воронки, вижу, плавают в смеси несколько человек с длинными ушами–антеннами. Все лёгкие. Тела прозрачные, но фигуры выделяются. Два вышли наружу и протянули руки…»

— Есть спросили! — перебил дядя Вася. — Дорогу на Агадырь выведывали. Как это они тебя, Юрка, с собой не прихватили!? Полетал бы с ними. И обед пришельцы съели? А потом ушли под землю? Или улетели вместе с обедом?!»

Вместо ответа Юркины глаза остекленели, губы перестали шевелиться, и он приобрёл такой вид будто он, и правда, собирается улететь в другие галактики.

И тут началось обсуждение. Философ–геолог Яша значительно произнёс: «Есть объективная причина галлюцинаций, — стимулы для восприятия внешнего мира идут из раздражений нашей нервной системы. Карл Юнг считает, что такие явления связаны с архетипами психики». Геолог–старожил, Саша, выросший в Казахстане, добавил: «На самом деле известно, что смерчи могут переносить людей без всякого вреда для них, из-за быстрого изменения давления». Пока все были заняты разговорами, Юрка сидел в ошарашенном виде, насупившись. Он был озадачен и не знал, как себя вести из-за причастности к космическим явлениям и архетипам психики. Раньше когда его хвалили, он принимал снисходительно–игривый вид, был хвастливым, когда расписывал «хрустали» и осетров, заискивал, но — это были его естественные состояния, а вот сейчас? Теперь незадумчивый Юрка вдруг задумался, но для этого актерства не хватало, и он выглядел глуповато–важным. «Юрка, что ты себе в

голову забрал, будто Ленина видел! Эка важная птица», — усмехался дядя Вася. И Юрка, который всегда простодушно болтал, на этот раз, наливая в миску борща, ни слова в ответ не произнёс.

«Здрасьте», глядя на Юркину задумчивость, осмелился досказать окончание своей присказки: «…а жена лежит с другим — до свиданья!»

Но Юрка не желал расставаться со своими грёзами о пришельцах и причастности к чудесам, архетипам, космическим явлениям. Как только все уходили из кухни, он бросал всё и бежал во весь дух в своём обычном виде за сопки в сопровождении Василия Ивановича. Они вместе разглядывали последствия смерча, искали окурки, записки, следы, замысловатые знаки. Юрке так хотелось найти какие-нибудь свидетельства прихода инопланетян, что он перестал днём укладываться спать, и только бегал на поиски. Но кроме щепок от бочки ни он, ни Василий Иванович ничего не обнаруживали. При виде щепок от бочки, стимулы для восприятия внешнего мира не раздражали нервную систему и не вызывали объективных галлюцинаций. Непонятные явления остаются притягательными и волнующими всю жизнь.

Когда мы вернулись в Агадырь сдавать материалы, рассчитываться, Юрка был ещё тихий и важный, помалкивал и даже на прощальном ужине всех работников экспедиции ни словом не обмолвился про пришельцев, видно, боялся, что буровики его побьют из зависти. Но уже через день повеселел и самодовольно ходил в компании агадырских красавиц, — не знаю, чем он их развлекал, какие он им диковины рассказывал, но девки упоительно смеялись и даже визжали.

Сезон закончился. Юрка получил от Бориса Семеновича желанную характеристику для заграничного плаванья и уплыл. В Агадыре ходили слухи, что он куролесит где-то под океанами на подводной лодке «Двенадцать хрусталей» и обланжирует макароны по— флотски луком–шарлот. И ещё поговаривали, что видели Юрку в Кремле, будто бы он встречал делегацию из Африки кланялся и пил водку. «Ну, один к одному Юрка!»

— «Нет, это не Юрка, он — не пьёт!»

А пса Василия Ивановича, откормленного Юркой всеми способами, шофёр дядя Вася обменял на барана, и пёс Василий Иванович стал караулить отару овец, которые слушались его беспрекословно и восхищались его умом и смелостью.

Донской казак в Вирджинии

В те дни, когда горы «Париж» коснулись первые прикосновения осени, раскрасив гору такой свободнонеобузданной кистью и такими невиданными красками, мы познакомились с русским человеком, донским казаком, живущим по соседству.

Воспоминание моей первой американской осени в Вирджинии было иным, чем в России: там — в бабье лето белые нити, неизвестного происхождения, носятся по воздуху: по верованиям язычников, один из славянских богов покрыл всю землю паутиной, а тут — набросил на всю землю царский плащ чистой музыки, звенящей в красках осенних листьев: белые тополи, фиолетовые ясени, сахарные клёны, лоскутовые деревья, сусальное золото карликовых берёз.

Не только американских осенних красок не доводилось мне видеть в России, само собой разумеется, но и человека, русского крестьянина, владеющего землёй по своему усмотрению, хоть я и деревенская: мне попадались одни колхозники, а независимых хозяйственных тузов — «кулаков» с величием и достоинством, энергично кормивших Россию и Европу хлебом, я встречала только высмеянными, отрицательными образами в литературе и в кино, на картинках, и высланными в Агадырь в Казахстан, но уже без ничего. — Революционная мораль не позволяет богатеть одной личности, и всех «кулаков» в 20–е — 30–е годы разоряли, прогоняли, всё отбирали, выравнивали, восстанавливая справедливость, и высылали голыми— босыми в Сибирь и Казахстан. Оставшись без таких знающих толк в хозяйстве людей, коммунистическая Россия стала покупать зерно в Америке, — пусть в Америке богатеют, не так обидно, а мы будем воспевать хлеб и колоски в стихах, в искусстве, возвышаясь над меркантильным, прагматичным миром.

На свадьбе сына нашей знакомой Наташи Питерсон, опять же «русско–китайского» происхождения, родившейся в Китае в русской семье, бежавшей через пекинские ворота и живущей в городе Роноке, среди приглашённых были люди, говорящие по–русски.

— Кто они такие? — спросила я у Наташи.

— Это Сергей Наугольнов. Он родился в станице на Дону, попал в плен к немцам, и сейчас живёт в Америке с женой Аней и дочкой Валей. Я его зову «донской казак». Я вас представлю, — сказала Наташа, — и тут же познакомила.

Сергей был низкого роста (про таких в простонародье

говорят: метр с кепкой), коренастый, крепко скроенный человек в пиджаке с рукавами, закрывающими руки, в брюках, морщинами волочившихся по полу. Сергей был похож на движущийся прочный квадрат: черты лица чёткие, определённые, квадратные, рот крепкий — прорезан одной линией. Его лицо было преисполнено такого внутреннего значения, как у людей, про которых говорила моя бабушка: «Самостоятельный!»

Узнав, что мы русские, Сергей оживился, замахал руками, обрадовался так, будто встретил своих родственников или «столетних» друзей, и немедленно пригласил нас в гости: русские быстро знакомятся.

— Приезжайте ко мне. Я вам свою пропертю покажу. Чего только нет у меня! Я… хвастаться не стану, но я тут — богаче всех! — размеренно произнёс он, по–украински произнося букву «г» в слове «богаче» и обнажая рот, в котором не было некоторых зубов. — Аня, посмотри, это — русские! — обратился он к подошедшей красивой статной женщине, с головой, покрытой кружевной накидкой рыжесургучного цвета с пропущенной ниткой волочёного золота, в точности такой, какой моя рязанская бабушка убиралась, когда ходила в церковь.

— Милости просим! — произнесла Анна, слегка наклонив голову вечным жестом цариц. Если бы вы увидели этот наклон–полупоклон! Екатерина Вторая! Королева Виктория! А потом… замедленное поднятие головы, возвышающейся надо мной, над Сергеем, над всеми. Пройдут века, а это движение останется, — «с походкой, со взглядом цариц!»

Мы немедленно воспользовались приглашением Сергея — посмотреть его «пропертю,” захватив детей и приехавшего к нам друга — геолога Толю из Колорадо.

Позвонили и поехали: интересно, как живёт–поживает беззубый, раскулаченный «донской казак» в Америке?! Приехал: из немецкого плена, без образования, без родственников, без единого английского звука, без денег, без всего, голо–босо–раскулаченный?

Поехали вдоль предгорий Чёрных гор и примыкающих к ним хребтов Голубых, в предместья города Ронока, не переставая восхищаться раскраской холмов и дорогами, то разрезающими эти холмы до самой мантии, то взлетающими на кручи с открывающимися видами звенящих пепельно–серых далей, с длинными перспективами куполов и нежными переходами света. Кажется, дышат вы–пуклости этих сладострастных холмов! Кружатся… Раздвигаются… Веселятся!

Звенящая перспектива холмов… Так можно назвать не нарисованую ещё картину.

Дорога опустилась в долину реки Ронок и пошла кружить по усадьбам с помещичьими домами, именьями. Боже ты мой, какие дома! Я никогда не видела таких домов, разве что нарисованными на картинках— илюстрациях. Дорога внезапно зашла в тупик, подведя нас к кирпичному трёхэтажному особняку с шатровой крышей и белыми колоннами.

— Ребята, вы заблудились! — сказал Толя, и мы остановились, чтобы проверить адрес. Пока Яша с Толей смотрели в карту, я рассматривала архитектуру дома. Вдруг, между колонн, появляется наш Сергей и кричит:

— Сюды! Сюды! Парковайтесь!

К дому подводила лестница, на широких ступенях которой стояли гигантские гипсовые вазы с растущими в них розами. С одной стороны — розы медно–красного цвета, а с другой — чисто белые махровые розы, все ветки которых были усажены большими, твёрдыми шипами, загнутыми серпами вниз. Каким-то непонятным образом, — видимо, на специально подогнутых палочках, — розы образовывали купол — арку. Под куполом из живых роз мы поднялись к двери, лучше — к воротам с двумя белыми колоннами с одной стороны и с двумя белыми колоннами — с другой.

То, что предстало моему взору после закрытых дверей, сразу и по порядку описать невоз–можно; и я опишу без всякой последовательности: большая гостиная комната — парадная зала, с высо–кими потолками и венецианскими окнами, украшен–ными резьбой, представляла самое разнообразное собрание всего, что есть на свете из моих детских представлений — грёз о красивом; начиная с лапчатых петель на дверях, с углублёнными, выдавленными на них, вместо гербов, узорами и фигурами лазоревых лебедей.

В лазурно–атласном камзоле С малиновой розой в руке.

Прямо на стене висел тончайший гобелен — откуда? — на котором разноцветным шёлком выткана была красавица в алом платье с венком, сплетённым из лилий и роз. Моя Кронштадтская мадонна! Рядом, через пролёт окна, — висела репродукция: Иисус Христос, спускающийся с небес, а под ним — скрещённые грузинские шашки с резьбой, украшенные украинским расписным рушником.

В другом пролёте между окнами — картина с большим зайцем и маленькими домиками. Везде цветы в больших и маленьких вазах, стоящих на полу, на столиках. Каких только нет! Тонкие цветы из батиста, кисеи, бархата и шёлка. В одной из ваз с китайским драконом — цветы из фарфора, даже кованые цветы примостились в одном восточном сосуде. Шкатулки и

шкатулочки, переливающиеся открытки, видимо–невидимо на столах и столиках, некоторые отсвечивают золотом, другие переливаются перламутром. Два больших дивана и один маленький, цветной парчовой обивки, и несколько кресел, покрытых сверху вышитыми тонкими дорожками и сотней подушечек с воланчиками, фестончиками–рюшечками. Центральное место занимал сервант–буфет со стеклянными кручёными узорами, сквозь который просвечивала фарфоровая позолоченная посуда и семья белых полированных слоников. А рядом лампа с движущимися фигурками скрипачей.

Пол устлан белым ковром, с густым ворсом, а на нём лежит несколько ковров с рельефными узорами. Окна обрамлены задрапированными волнами, собранными в складки светло–жёлтым тяжёлым шёлком… Не в силах произнести ни слова, разинув рот, стою, и вдруг Илюша меня толкает:

— Мама, запах — как у моей няньки Александры Кузьминичны!

А меня этот запах уже унёс туда, под лавку, где я пряталась от грозы, туда, где скатывалась по склонам цветов, туда, где бросалась в свежевысушенное сено с перекладин сарая, туда, где бегала усадьбами босиком, туда, где ела оладьи из сырой картошки… Как этот деревенский российский запах оказался в Америке? От чего он? От крахмала кружев? От воска цветов? От варёного льняного масла? От отрубей? От выскобленных дебелых полов? От?

Или сам воздух имеет такие свойства? В маленькой деревне на речке Кашинке, и тут — в центре Америки. Запах… деревенский… и тут… я услышала голос Сергея, зовущего нас на двор — осматривать «пропертю “.

За домом сразу начинались ряды низких фруктовых деревьев.

— Это — моя гордость, персики! — сказал Сергей и показал на аллею, уходящую в глубину.

— Как вам удаётся выращивать их в Вирджинии? Тут же заморозки! — спросил Толя.

— Я их шпреем и дымком обдаю, когда скажут, что мороз надвигается; ночью разведу костёр под ними, и окуриваю, и окуриваю, и окуриваю. Иной раз всю ночь сижу. Я ихних бушлей двадцать с дерева собираю; чтоб не перезрели, притеняю деревья. Мясо у них душистое, тающее, сочное, растекается. Анна с дочкой варенье наваривают с корочками лимона, — дадим отведать! — говорит Сергей.

— А тут мои яблони и груши, обтрусили намедни, — показывал Сергей на деревья, когда, пройдя через аллею персиков, мы подошли к площади, засаженной деревьями,

разбросанными по два — по три в группе. — Груши ихние, удаются с выдающимися боками, аж просвечивают, а яблоки ихние — «макинтош» называются — полосатые и красные, неплохие, а вот ихние зелёные не идут в сравнение с нашей «антоновкой», — жидкие. Я их перестал сажать, — рассказывал Сергей.

Стволы каждого дерева были вымазаны чем-то белым, подпёрты железными треугольными распорками, окружены кольцом из коричневых корочек, похожих на жмых, то ли для удобрения, то ли для дренажа, я не стала перебивать Сергея, увлечённо рассказывающего о черешне, что ему никак не добиться такого вкуса, как от вишен, «растущих у батьки на Дону»:

— Ихняя черешня без проникновения, пресная! — говорил он, подведя нас к деревянному сараю с навесом и разнообразными пристройками.

— Тут моя скотина. Это мои коровы и телята. Один телёнок идёт во фризёр — на зиму; другой — откармливается до следующего фризёра. Я телятину на вертеле делаю, — по–ихнему, барбекью. Вот там у меня барбекьюшное устройство стоит, — говорил Сергей, когда мы подошли к хлеву с коро–вами и телятами.

Коровы и телята стояли упитанные, холёные, на мордах глаз не видно: всё заплыло, они монотонно и безразлично жевали, не обращая на нас никакого внимания, без просящей грусти в коровьих глазах. Совсем не тот вид и не тот взгляд, запомнившийся мне у наших колхозных коров. В Ленинградской области видела коров, подвешенных на ремнях, чтоб не падали, с просвечивающими хребтиками, жилистых, с коровьими печальными взглядами. Американская скотина лоснится от благополучия, глаз не видно от жира, а русская, подвешенная на ремнях человеческой заботы, раскачивается в ожидании прихода нового хозяина.

— А в этом пустом курятнике, — продолжал Сергей, показывая другую пристройку, — мы раньше курей разводили, но бросили: овчина выделки не стоит, теперь у меня тут свинья живёт.

— Поля! Поля! Поля! — позвал Сергей жирную, валяющуюся на сене свинью и даже пощекотал её. Она не реагировала и морду свою нам не показала.

А вот у моей бабушки был поросёнок Борька — поросячий гений по уму! Если бабушка его позовёт: «Борька! Борька!», — он, услышав, мчится со всех ног, как гончая собака, причём ноги не перебирает, а подпрыгивает двумя ногами вместе, — так

проворно бежал, когда его звали хлебать хлебную барду. Вся деревня им любовалась, и все говорили: «Вера! Какой у тебя поросёнок смышлёный!» А эта американская свинья лежит — не шевелится, — есть не хочет, — наш русский поросёнок побеждает по проворности.

За бывшим курятником стоял отдельный сарай — мастерская, машинно–тракторная станция, — где располагались инструменты, нужные для хозяй–ства. Помещение представляло собой выставку металлических конструкций, расположенных в порядке, сравнимом лишь с иерархией католической церкви. По стенам, на балках, гвоздиках, крючках, подвесках рядами были разложены, развешаны вилы, косы, щипцы, ножницы, грабли, щупальцы, колёса, серпы, всевозможные незнакомые мне предметы, как скульптуры и холсты великих мастеров у лучших ценителей. Кружка1ми были сложены зелёные резиновые шланги, обрамляющие стол–верстак, с маленькими ящичками с прозрачными стенками, наполненными гайками, гвоздиками, винтиками.

У одной стены стоял миниатюрный трактор в окружении других изящных изделий для сгребания, сдувания, стрижки, скашивания, выравнивания, скрещивания, веянья, сеянья, скребышания. Ни соринки, ни мусоринки, ни пылинки, ни пёрышка! Яша с Толей залюбовались инструментами, стали спрашивать, для чего, как и почему.

«И почему, — подумала я, — по всей России, по всем бесконечным просторам — «от края и до края» её полей раскиданы хромые комбайны–инвалиды, запачканные дёгтем, переломанные сеялки, беззубые бороны, ржавые тракторы, развалившиеся на кости? Почему?»

Но переломанные хребтики ничего не могут ответить, и долго их будут находить в раскопках как маркирующий горизонт великих строек, как свидетелей непостижимой нашей дальновидности — зарытых в землю устремлений.

Даничка с Илюшей долго ещё оставались в помещении с инструментами, забавляясь ездой на тракторе, сеялке и на всём, на чём хотели, а мы уже осматривали поля Сергея Наугольного, тянущиеся от сарая до самых гор. Весь четвертичный шлейф, освещённый лучами солнца, представлял разбитые квадраты и прямоугольники, аккуратно подстриженные, вытянутые, как по линеечке, засеянные разными овощами, травами, с разницей в оттеночках, как поля с самолёта.

— Это мои поля, — гордо сказал Сергей.

— Как вы всё это обрабатываете? — спросил Толя.

— Я очень бизи, — ответил Сергей, — всё хозяйству отдаю, от

зари до зари, минуты не отдыхаю. Сейчас вот работников уже нанимаю, много дел, а поначалу всё сам, без копейки начал, без трошки, единой копейки. Я дома стал строить. Я таких, — Сергей показал на свой дом, — пять штук построил и продал. Жена с дочкой подсобляли.

— Вы сами такой, такое сооружение возвели? Дворец? — спросила я.

— Пять штук продал. Я у немцев учился, когда в плену был. Подсобником, чернорабочим на стройке работал, всё присматривался, приглядывался, как немцы строят: кирпичик к кирпичику, кирпичик к кирпичику прилаживают. Отлично работают! Американцы строить не умеют, работать не хотят. С них смеяться только можно. Я все ихние лайсенсы получил: и электрический, и водопроводный!

Сергей стал подробно объяснять Яше и Толе, как получить «лайсенсы», если они захотят что-то построить, удивляя их необыкновенностью своих познаний, и подвёл нас к какой-то зияющей дыре, где он предполагает построить новый пульт управления поливки полей: от зарытой в земле цистерны пойдут пластмассовые трубы, разбрызгивая воду по полям Сергея Наугольного.

Вернулись мы с другого хода, через кладовую— хранилище с запасами: бочками, ушатами, стеклянными банками варенья, мешками, торбами, жбанами, плетёными корзинами с сушёной травой и цветами, и большим холодильником, занимающим целую стену, — это и был знаменитый «фризёр», видно заполненный откормленным телёнком, если не целым стадом.

— Накрывай на стол, Анна, как раз Валечка и подоспеет к обеду, — сказал Сергей, посмотрев на часы и взглянув на красавицу жену. — Мы с плену с Аней. Её девчонкой немцы на работу с Украины угнали. Там и встретились.

Анна достала из комода накрахмаленную хрустящую белую скатерть, накрыла ею стол, тщательно расправив все уголочки. Узоры на скатерти были расшиты тонкими крестиками, как зубчатые подзорники в горнице у моей тётки.

Что стало появляться на этой скатерти?

— У нас всего вдоволь, — сказала Анна, — сначала я закусочку принесу! — и стала представлять нам блюдо за блюдом: это — грибки маринованные, а это — сушёная и вяленая рыбка с дачи, вот — ещё грибки солёненькие, но у них нету смородинного листа, и я их засаливаю с укропом и с какой-то ихней травой, не знаю, как называется. Это — пироги с капустой и луком, а это — запечённые пироги с рыбой. Огурчики свежие, с огороду, с запахом.

Как заворожённые, смотрели мы на появляющиеся тарелки с этими блюдами и слушали музыку блюд, и Илюша вместе с нами. А Даничка устроился на ворсистых мягких коврах рядом с кошкой, возлежавшей на большой расшитой шёлком подушке. Кошка была обрамлена ошейником, украшенным орнаментацией из переливающихся цветных камней, и к её начесанно— длинно–волокнистой шерсти около уха был привязан бантик.

— У нас всё своё, — гордо произнёс Сергей, — чистое, бесконсульное, без ихней химии.

Я совсем не поняла, что значит «бесконсульное», но Ялта мне объяснил, что это слово Сергей образовал от английского слова «cancer» — «рак», т. е. не образующий рака, не содержащий того, от чего…

— У них, — продолжал Сергей, — всего намешают, накидают, консул и заводится. У них огурцы, одно сказать, здоровенные вымахают, а без вкуса и запаха, — полиэтилен, есть нельзя. Или, к примеру, ихняя «strawberry», — по— нашему, «клубника», — будто её горячим кипятком ошпарили!

— А наша — чистейший изумруд, — добавила Анна, — во рту тает!

— Валя, Валечка приехала! — воскликнул Сергей, услышав звуки захлопнувшейся двери автомобиля, и глянул в окно.

— У конторе работает! — уважительно произ–несла Анна.

— Спускайся к нам, у нас гости, русские! — позвал Сергей приехавшую дочку.

Спустилась и вошла. Красавица!

Мне такую красавицу и не описать, я наяву таких красавиц не видела. Её лицо — лицо моих кронштадтских мадонн «из беседок роз». Я перевожу взгляд на гобеленную красавицу — это она, только там, на картинке, есть обрамление из лилий и роз. В жизни ей не хватает лилий и роз, чтоб оттенять белизну кожи лица — белой лилией, а алость губ — цветом алых роз. В детстве мы с подружками, изображая красавиц, зажимали губами оторванные лепестки роз, потом шамкали губами и выплёвывали эти лепестки, а она, видно, их не выплюнула. «Розы падают из уст, когда смеётся красавица.» А из лилий реки Кашинки мы сплетали венки… и плавали в них, как русалки. А откуда чёрно–чёрный бархат её бровей? Я смотрю. Наш друг холостяк Толя застыл в недоумении от неожиданной красоты скрывшейся на кухне Валечки.

— Она — из «Вечеров на хуторе»! Она — из «Тихого Дона»! Быстрицкая — разве красавица рядом?! — с расстановкой говорил Толя, ошеломлённый.

— А кто это Быстрицкая? — спросила Анна и посмотрела на

Толю с некоторым недоверием.

— Это актриса, игравшая казачку в фильме «Тихий Дон», — ответил Толя.

— Она у нас не разбалованная! По хозяйству — первая помощница, — говорит Анна. — Рассаживайтесь и пробуйте всё, что в нашем хозяйстве мы производим, все наши кушанья.

Мы всё начали пробовать, всё, что было на столе.

— Спасибо! С удовольствием! Спасибо! — произносили мы, сидя за вышитой скатертью с хрустящими узорами и хрустящими закусками.

— У нас всё своё, — сказал Сергей. — Ничего нам не надо у магазине. Хлеб ихний только скотине скармливаю, видели у меня запасы, ихний хлеб, как молочный кисель, разве что стены обклеивать. А ихнее молоко! Чего только туда не наложут для сохранения! Вот, правда, вино у Ронку брал, да плохонькое оно. Американцы вино делать не умеют. Мой батька на Дону наливку из шпанских вишен делал, как чистое золото — перелив.

Вошла Валечка с подносом и лежащей на нём громадной индюшачей горой, верхний слой которой был собран в жёсткие мелкие хрустящие складочки, обложенной у основания чёрными сливами.

— Стафф в турке, — это означало: «начинка в индюшке», — из наших слив, смешанных с нашими яблоками, — сказала Анна.

В хрустальные рюмки Сергей налил «ихнего» плохонького вина, и мы выпили, как полагается, первый тост за здоровье хозяев и за процветание их хозяйства и семьи. Отведав всех кушаний, я не могла притронуться к индюшачей горе, часть которой внезапно оказалась у меня на тарелке.

— Что же вы ничего не едите? — укоризненно приговаривала Анна, подкладывая куски. — Ешьте, пожалуйста! Ряженку ещё!

А мы всё нахваливали и, в угоду гостеприимным хозяевам, ели больше, чем могли…

— Как у вас хорошо! Как всё вкусно! Как хорошо в Америке!

Вдруг Сергей произносит с некоторой задумчивостью:

— Если бы нашим, да ихнюю свободу, то мы бы Африку кормили! Тут — кажинный миллионер! Кто работать хочет! А народ ихний разбаловался! Тупые, работать не любят! Работать не хотят!

— Ну, страна-то богатая, как-никак, — тихо заметил кто— то из нас, не пытаясь затевать никаких дискуссий.

На это замечание донской казак Сергей Наугольнов произнёс речь, записанную мною без всяких изменений:

— Они — наследники! Первые ихние люди были умные — Джефферсон ихний и Вашингтон ихний, всё и обосновали! А

почему богатые? — спросил Сергей, как бы задавая самому себе этот вопрос для осмысливания. И сам себе ответил:

— Деньги у них двести лет не менялись, так и идут! Так и идут!

Сергей встал, вдохнул воздух, положил вилку и салфетку на стол и магическим голосом, достойным великих актёров, играющих королей или Наполеонов, произнёс снова:

— Деньги двести лет не менялись! Так и идут! Так и идут! — И сопроводил эти слова медленным жестом, перекладывая что-то из одной руки в другую, и прихлопнув обе руки вместе, руками дорисовав вывод, замер: — Так и идут!

Мы смотрели на окаменевшего на секунду Сергея, стоящего с неразжатыми руками и прислушивающегося к чему-то в пригоршнях сомкнутых ладоней. Даничка прорезал уважительное молчание каким-то желанием, а Толя подсел к Валечке и начал её расспрашивать:

— Что вы по вечерам делаете?

— Я после работы помогаю маменьке и папеньке по хозяйству, — ответила, смутившись, красавица, тихо взглянув на Толю и медленно прикрыв глаза ресницами. — И ещё я люблю шить, — добавила она.

— Она у нас мастерица, — вмешалась Анна, — всё сама себе шьёт. А как вышивает! Посмотрите, вот эти салфетки — её работы.

— У меня есть швейная машинка, я на ней шью себе платья, а выкройки покупаю у Ронку. Вышивать люблю и ришелье, и гладью по рисункам.

— А как вы свободное время ещё проводите? — поинтересовался Толя.

— Иногда с папенькой и маменькой у Ронку шоппинг делаем.

— Мы её без нас никуда не отпускаем, — сказал Сергей.

— Много тут желающих на дармовщинку, на моё хозяйство позариться… на чужое добро заглядываться! — и посмотрел на Толю, что-то прикидывая.

Вступаясь за Толю, я его защитила, употребив любимое слово моей бабушки:

— Он самостоятельный и уже работает в Колорадо, геологом.

— Уж больно далече живёт! — сказала Анна.

— Ну, теперь, Анна, подавай чай с нашим клубничным вареньем и сливками, — распорядился Сергей, и я вместе с женщинами ушла на кухню — уносить, приносить… Вернувшись в столовую, я услышала, как Сергей рассказывал об охоте «на турков» — диких индюков:

— У меня, у горах, у глубине, есть дача и эйки земли. Я

сделал курлючник, и когда у турков свадьбы, то я засяду в лесу, под кустами, и курлычу, и курлычу. Звук такой, подражательный… Он — турок — обязательно придёт. Он думает, что она его зовёт, и он придёт обязательно. Только жди терпеливо. Он придёт! — сказал Сергей так убедительно, что я ему не могла не поверить.

— Нужно уметь ждать, — и он придёт! Обязательно! Давайте-ка завтра — на дачу ко мне рыбу ловить! Поедем? А? Сейчас чай пить! — сказал Сергей и потёр руки.

Но не чаем с вареньем и сливками закончилась наша встреча у донского казака, а его игрой на балалайке.

Сергей принёс из верхних комнат балалайку с треугольной декой и грифом, перетянутым цветными струнами. Заиграл правой рукой на щипок и бряцая, потряхивая кистью, а левою, придерживая струны на грифе, перебирал пальцами. Потом пощёлкал по кузову балалайки четырьмя пальцами дробью и такой произвёл на меня эффект, будто бы я опять вернулась на завалинку, где бабушка и её подружки просили меня поплясать под гармошку:

— Дина, иди попляши!

И я выходила «бить дроби». Дроби, дроби, дроби бей!.

Возвращались домой мы с полным багажником редиски, яблок, груш, варенья, с мешком картошки и с влюблённым геологом.

— Боже! Какая красавица! Это один из лучших моих дней в Америке! — говорил Толя. — Вот бы такую жену, как Валечка! Мои родители вот–вот приедут, как они были бы рады такой жене, такой мастерице, такой красавице! Боже! Какая красавица!

Толя думал о Валечке, а Яша — о теории Сергея Наугольного — о накоплении капитала.

— Какой политический эконом! — с восхищением произнёс Яша. — Деньги двести лет не менялись. Так и идут… Так и идут…!

Разбудил нас Толя на следующий день на заре:

— Скорей собирайтесь, поедем к Наугольному!

— Красивее, чем у Ронку, нет мест в Америке! — говорил Сергей, когда мы ехали вдоль подножия Голубого хребта на дачу, все разместившись в его громадном микроавтобусе.

— Да, чудные места — столько простора! — отвечали мы.

— У меня тут эйка, — показывал Сергей куда-то в даль гор, — и там у меня эйка… А вот и моя речка! — произнёс Сергей, когда блеснула речка где-то под холмами и скрылась, но мы её догнали, обогнув и спустившись с холма, и подъехали к дому, стоящему на луговой пойменной террасе. Эта луговая терраса, с

домом, — островок, — «зажатый» между двумя холмами, уходящими в небеса.

К противоположному берегу реки спускался крутой холм, покрытый лесом; листья кустов и деревьев окунались прямо в воду; речка тесно прижималась к нему, обнажив своё прежнее ложе, где она дотоле долго резвилась, перекатывая горные породы, и некоторые, укатав до ила, бросила тонким покровом на луговой пойменной террасе. Это — мои остатки геоморфологических познаний.

— Тут настоящий рай, — сказала Анна; — ничего не слышно, кроме пения птиц и деревьев. Послушайте!

По звукам я не могла определить, кто есть кто в птичьем царстве, наполнявшем пространство разными звуками, хотя в университете и была практика по ботанике и зоологии, и нас водили ночью в Петродворцовые парки, для зачёта — узнавания: кто из птиц как поёт. Я запомнила и узнала одного только соловья, а остальных мы придумывали сами, никто не может узнать пели они или нет, были они или не были? также — и с растениями с латинскими названиями деревьев и трав, запомнила только одно — Betula verucosa — Берёза обыкновенная.

Американские птицы были весёлые и нарядные и заполняли всё воздушное пространство свистами, щебетом, всплёсками, радостью. Речка выглядела, как рай для рыб: вода была мутно–жирная, с жёлто–белым оттенком; видно выше речка размывала тонкие лёсовые породы и переносила их куда-то к океану.

Сергей отвязал лодку, привязанную к небольшому причалу, и раздал всем удочки с насаженными червями— приманками, купленными в специальном магазине. Опустив своего червя в воду, я заметила, как он привлёк внимание прожорливых рыбок, и, вытащив леску, увидела прицепившуюся рыбку.

— Вот и попалась, вонзился крючок мой!

— Плохонькая у тебя рыбка, — сказал Сергей, — сюды клади в ведро для варки. А та, что пожирнее, пойдёт во фризёр — туды. Одних посушим, других поварим, третьих повялим, — распоряжался Сергей.

— Какая изумительная рыба! — восхищённо сказал Толя, взяв за жабры большую рыбу — видно, только в высоких горах ловится такая!

— Да разве это рыба!? Ты не видел настоящую рыбу с Дону! — заворчал Сергей и махнул рукой.

— Я в тех местах работал, и нет уже рыбы на Дону. Всё химические отходы загубили, — ответил Толя.

— Нет! Не может быть! Есть на Дону рыба, — возражал

Сергей. — Есть!

Но Толя почему-то настаивал, что нет там рыбы, что угольные химические заводы сбрасывают в Дон отходы, и рыба вся передохла. Сергей же, не обращая внимания на Толины слова, продолжал:

— На Дону рыба играет, как перелив! С батькой по росе наловим… Аж поёт… Есть там рыба. Есть!

— Толя, — сказал Яша, — человек не мог бы и жить, если бы не измерял действительность вымышленным миром безусловного.

Валечка и Анна быстро очистили плохонькую рыбку и побросали в котёл для ухи. Некоторые из рыбных представителей были развешаны на солнышке, другие пошли во «фризёр».

Запах от ухи наполнил всё пространство около дома, где мы расположились на скамейке, и вытеснил все другие запахи, идущие от лугов, трав, реки. Я уже не смотрела на кручи холмов, в ожидании серебряного раствора с рыбками. А Яша и Толя ещё восхищались просторами.

— Просторы, просторы! — укоризненно произнёс Сергей. — Сколько крайму на этих просторах! Мы тут Валечку без пистолета не отпускаем по просторам. С преступниками они сколько возятся! Некоторых давно надо отстрелять, а их — на свободу, — гуляй! Дважды и трижды провинившиеся должны хорошо сидеть. Порядок нужен. А то возятся, возятся с ними, — а их уж давно казнить надо.

Ялта попытался что-то сказать про гуманность и про плату за свободу. Сергей был полностью невозмутим и убеждён в правильности своих суждений и обратился к нам с таким вопросом:

— А вы что, думаете, американцы — такие же люди, как и мы?

Его вопрос повисает.

Мы не знаем, что ответить на такой вопрос, и через некоторое молчание он сам продолжает, видимо, и не ожидая от нас услышать ничего вразумительного.

— Мы поначалу, по первости, тоже так думали, что они такие же люди, как и мы. А вот, трошки, тридцать лет живу с американцами и вижу: не такие они люди, как мы. Тридцать лет живу — ни единого, трошки, нейбора не знаю. Ни единого френа вокруг. Собаки — только френы у них. У нас в станице кажинный — какой френ батьке был! Русский кастам! А тут разговоришься с ним, вроде как со своим, улыбается, вроде как поначалу кажется, а коснись достать слово из-под сердца, — нет такого френа! Не делится он. Чужой. Увидите, как проживёте подольше. Чужие

друг другу люди.

— У нас душа есть, а их, видать, Бог оставил, — добавила Анна, а Сергей продолжал:

— Не умеют они быть френами. Не умеют! Поживёте, оглядитесь — и вспомните мои слова.

Сергей говорил на смеси четырёх языков: некоторые слова вставлял по–немецки, другие — только по–английски, русский с украинским у него давно перемешались. И вдруг изумил Яшу лингвистическим чутьём:

— У вас там, задалече, язык — чистый, а у нас на Дону — мешаный.

Мы ласково распрощались, наевшись вдоволь ухи, и они пообещали нам приехать на ответный обед.

В день приглашения семьи Сергея Наугольного на обед я сделала украинский борщ с пирожками, вложив всё мастерство в своё коронное блюдо: курицу, фаршированную грецкими орехами. Толя купил для Валечки малахитовые серёжки для её тёмно–вишнёвых глаз. Долго я и он выбирали, чем оттенить её красоту. Купили ещё розы и лилии, — как у мадонны из «беседки роз». Когда всё было готово, позвонила Валечка, извиняясь:

— Маменька и папенька сказали, у нас очень много хозяйственных дел, и приехать мы не сможем.

Наш раздосадованный геолог уехал в Колорадо; — дальность его работы и была причиной их неприезда. Этот секрет нам потом открыла Наташа:

— «Донские казаки» убоялись, — увезут красавицу— дочку в другие горы!

Приготовленный для Валечки подарок наш друг подарил другой.

А мы в каждый праздник Рождества получаем переливающиеся, искрящиеся, с блеском, самые–самые нарядные поздравления от семьи «донского казака» Сергея Наугольного.

Пост скриптум

Ну, и что ты можешь сказать после двадцати с лишним лет житья в Америке: — Такие же американцы люди как и мы? Такие или не такие?

Изначально человек не ангел, где бы он ни родился. А ещё страннее «разнос», разделение, разрыв внутри человеческого вида, как писал Теяр де Шарден, да и все мы об этом знаем. Поэтому, кого и с кем сравнивать в таких многослойных обществах как русское и американское, и с такой иерархией? Всех американцев со всеми русскими? Политиков с политиками? Артистов с артистами? Интеллектуалов с ковбоями? И так до бесконечности… и по вертикали и по горизонтали. А по какой шкале, и какой линейкой? Исторические, политические, социальные обстоятельства того или другого места, естественно, порождают и этнические и эстетические различия, но кто является представителем той или иной культуры?

В нескольких разрозненных фрагментах, сквозь призму географии, без претензий на серьёзный анализ, отличий и сходств «таких» от «не таких», бегло отвечу на предсказание Донского казака: «поживёте в Америке и увидите — не такие американцы люди, как мы».

Для начала я сравню себя со своими американскими детьми. Сын Даничка, как я писала раньше, возглавлял моё американское воспитание, основу которого заложил трактат старшего сына Илюши: «Мама, веди себя, как достойный человек.» Не пей… Не кури… Не смотри, как русские… (не оглядывай с ног до головы). Не дари подарки… (если тебе человек не может отдарить). Не говори за спиной… и так далее. Иногда я видела себя глазами моих детей, и не раз удивлялась столкновению «таких» с «не такими».

Даничка увидел письмо, пришедшее на наш адрес на имя его любимого профессора, нашего друга: «Почему к нам пришло письмо на имя профессора Т?» Я отвечаю: «Он зарегистрировал свою машину на наш адрес, район безопасный, и ему меньше платить за её страховку». «Мама, но ведь это против закона, почему вы так делаете?» Потому что…, стало неловко что-то говорить и я промолчала.

«Какая цель нашей поездки в Россию?» — спрашивает Даничка, заполняя таможенную декларацию, при посадке в Санкт–Петербурге весной девяносто какого-то года. Одной из целей поездки в Россию было моё желание показать Даничке его корни, чтобы он проникся, если не любовью, то интересом к

своему происхождению, к родине его родителей, и чтобы он (и я тоже) надышавшись имперским петербургским воздухом ощутил, может быть, ещё сохранившийся там дух великого народа. И может для того, чтобы совпали наши ощущения…

«Напиши — бизнес», — отвечаю я. «Но, я еду не по бизнесу.» — «Нужно так для того, чтобы регистрироваться (или нет) в гостинице.» «Сколько я везу денег?» — «Столько-то». — «У меня нет столько». — «Я тебе дам». — «Мама, а почему русские всё время обманывают?» Почему? Ответить коротко: не такие мы люди, — прав был Донской казак. Но я промолчала.

Как объяснять американскому парню, что народился новый человек, который освободился от всякой ответственности, и с одной стороны он ненавидит любую общественную машину, находясь во вражде с ней, а с другой — всегда прячется за неё. Он амбивалентен и не свободен, пропитан всей коллективной моралью и аморалью. Живя там, где мы жили, так привыкаешь к обману государственной машины, к обходным манёврам, к манипуляциям, всё это, как само собой разумеющееся, и ничего не видишь предосудительного, когда, к примеру, даёшь маленькие «чаевые» милиционеру, не выписывающему тебе штраф за нарушение правил езды. «Американцы — законопослушные». — Комментирует русский журналист, и слышится оттенок пренебрежения, и как бы подразумевается, что мы-то лучше, мы — такие вольные казаки. Слово «законопослушные» скомпрометированное, по–английски в этом слове нет такой интонации. Как сопротивляться соблазну усматривать в чужих… чего-нибудь плохое?

«Мама, не плакай», — утешал меня Даничка, когда мы вступили на русскую землю — после столь долгого отсутствия. «Посмотри, — отвлекает он меня — какая красивая таможенница, давай скажем ей, что русские женщины — красавицы!» Из-за слёз я ничего не вижу. Подходим к стойке, не успели открыть рот, как красавица открыла свой: «Что, не видите, что написано, — по одному подходите!» И пошло… и пошло до полной бестолковщины, и отдельного рассказа, как картины, привезённые нами в музей Ахматовой на выставку, красавицами были арестованы. И как придирались наши русские богини, и как хотели взять взятку, и как они её получили, и как сразу стали такими милыми и ласковыми. (Совсем мало девкам платят.) Слёзы уже не мешали мне их видеть. Даничка был уверен, что картины нам вернут только на обратной дороге, и «правил» наших взяточных игр он не мог распознать. Да я и не хотела посвящать его в тайны нашего ленинградского двора.

В Америке и думать бы не думали давать взятку — на таком

уровне, (это не «Боинги», ни «Энроны»…) да, никто бы и не взял, потому как работа оплачивается прилично, — не до взяток. А уж если что нельзя провезти, то — нельзя — и никакими способами не провезёшь. Это даже бывает неудобно, — нет никаких механизмов давления.

«Мама, а почему носильщики не хотели подносить наши чемоданы? Сказали: Сами докатите». Трудно забраться в их головы и понять их намеренья. Может, они прикинули, что им невыгодно нести два чемодана — ждали целый воз, а может, просто нарочно, сознательно не желали быть связанным обязанностью, проявляли волю — «не хочу, и всё». «Но ведь это их работа, они бы заработали денег, а не так просто стояли?» Может, мы им не понравились, мол, молодой парень — пусть сам несёт, — и хоть это и противоречит выгоде, но эмоции удовлетворены. Наш человек часто хочет настоять на своём, и выгоды не ищет.

Этим тоже «наши» отличаются от прагматичного западного человека, вернее, отличались. Сейчас условия жизни в России усложнились, и куда понесётся наш человек вместе со своей волей — ещё неизвестно. Хотелось бы думать, что при всей возникшей деловитости, этические суждения будут определяться не в такой степени близости к наличным, как в Америке, — должно же остаться что-то в русском характере и от великой русской литературы девятнадцатого века?

По дороге из аэропорта, за окном всё отдавало приездом в захолустье, в провинцию; убогость пейзажа меня неприятно волновала: вдруг Даничка решит, что нет никакого красивейшего города мира, что я его выдумала. И я уже сама стала волноваться: а есть ли он на самом деле? И я бормотала, что Город ещё впереди, что будет ещё красиво… Встречающий нас приятель — шофёр, чувствуя моё нетерпение, тоже торопился скорее оказаться в красоте города… и машину остановили за превышение скорости. Он быстро вышел из машины, (в Америке этого ни в коем случае нельзя делать, нужно сидеть в машине и вести переговоры с полицией через окно) что-то проделал с милиционером и через секунд пять вернулся. «Вам так быстро выписали штраф, и сколько?» — поинтересовался Даничка. «Никаких штрафов у нас не выписывают. Я ему сунул сотню — и всё в порядке! Главное, всегда наготове держать деньги». — Озадачил приятель своим ответом Даничку. «Так у нас принято». («Русский кастам» — из лексикона Сергея Наугольнова.) Полицейскому в Америке ты и не подумаешь сунуть сотню, — тебя тут же арестуют — один вид полицейских не внушает такого доверия.

И вот возник красивейшей город мира, где на каждом углу

дворцы, просторы текущей воды, розово–призрачный свет белых ночей, проспекты, Эрмитаж,… Даничка окунулся в незнакомую для него жизнь, попал в объятья этого мистического города, и был очарован. Он и день и ночь гулял по улицам, набережным, каналам, Невскому… Фасады, колоннады, пространства, пропорции, в колдовстве ночного света. «Петербург не похож ни на один город в Америке — такой оригинальный, я не видел ничего подобного.» И ещё: он разглядывал проходивших девушек, живая красота которых соперничала с красотой застывшего города. Похоже иногда красавицы затмевали для него весь остальной пейзаж. «Столько красавиц всё время попадается — я такого представить не мог» — восхищался Даничка.

«Как приятно люди в магазине советовали, будто друзья», — говорит Даничка. В Гостином дворе, когда покупали Даничке штаны, пока он их примерял — вокруг собралась публика, которая заинтересованно и бойко принимала участие в покупке: «Эти не бери, слишком стрёмные…?» «А вот эти клёвые… Полосочки, всё — как полагается…» «Чуть припаять, подогнуть надо… укоротить». «Там на Садовой мастер…» Шофёр в такси тоже не остаётся равнодушным: «Чем отоварились в Г остином?» И опять пошли советы.

«Мама, а почему русские так часто дают советы, делают замечания? Пока я шёл по улице столько всего назамечали, мужик спрашивает: «Парень, ты так вырядился, что в Голливуд собрался?» Кто-то сказал: «Шапку на голове надо иметь, а не в руках». Одна женщина толкнула меня: «Варюшку не разевай, а то раздавят». Я понял, что она меня предупредила, чтобы я был осторожным, но причём тут «варежка?» Видишь, как о тебе позаботились. Конечно, с одной стороны в этих замечаниях есть привлекательное соучастие, а с другой — вмешательство в твоё «прайваси» — всем есть до тебя дело — как и что носить, как и что отвечать. «А мне это интересно и даже нравится», — заключает Даничка. Для тебя — это антропологический интерес, туристический, иностранный, но если бы ты пожил в России раньше, когда у подглядываний, подсматриваний, шпионства не было предела, то твой интерес бы поубавился.

Мы выростали в атмосфере коллективного — всё вокруг общее, нет ни у кого никаких секретов, и мы лучше всех. Вся пропаганда, писатели, журналисты учили, что правильно, а что неправильно. И люди, вслед за всем «авангардом», пропитывались этими «знаниями» — и потому почти каждый знает «как надо», и что он умнее других. Те, которые только народились, таких общедоступных истин со всех сторон, наверно, уже больше не будут слышать, и как они будут ощущать себя без них? — я не

знаю.

За шикарными фасадами бывшего имперского города — другая сторона российской жизни, — обшарпанные стены, изъяны штукатурки, грязные подъезды, нищета, (не могу отказать себе в сравнении, может слишком прямом) — как бывает и у волшебных красавиц. Войдёшь во двор и можешь сломать шею, полюбишь красавицу и наудивляешься несоответствию.

Лифты в городе старые, дребезжащие, того смотри грохнутся, и всё-таки я с Даничкой осмелилась сесть в один из таких чудо–юд, и конечно мы в нём застряли. «Не умеете пользоваться лифтом», — первое, что сказал механик, когда пришёл нас вынимать, и пошёл ворчать, что нужно было подтянуть какую-то верёвку… «Почему он так сказал?» На этот вопрос Данички я повторила то, что уже стало навязчивым и банальным — из-за нежелания брать на себя ответственность — респонсибилити. Помнишь, в детстве ты не хотел брать «респонсибилити» за кота? Ты тогда так прямо сказал: «я не хочу брать респонсибилити за кота». Мы не привыкли так говорить, потому как всю ответственность, за всё — за кота, брак, портки, музыку… брала на себя мифическая советская власть — государство, а у людей и мысли не возникало о собственной ответственности. По инерции мыслей и не возникает.

Несмотря на разные русские непонятности и несуразности, Даничка увёз из путешествия особое отношение хотя лучшее что есть в России — язык и литературу он оценить не мог, но всё равно почувствовал некоторую гордость, отношение к этой необычной стране, к её народу, и к красавицам (к последним интерес его был чисто эстетический, потому как Америке его ждала американская красавица.) «Всё оказалось лучше, чем я воображал, интереснее… особенно девочки…» Я и сама любуюсь ими, вот только жаль, что наши звезды иногда открывают рот, хорошо бы они были немыми, или только бы улыбались, как их американские ровесницы.

Если же говорить об обычной человеческой вежливости, то мы точно — восточные дикари — «не такие люди». Моя американская сослуживица Энн, которую я просила исправлять мои «английские недочёты» (эту просьбу американцы неохотно выполняют, будто совсем не получают удовольствия ущучить тебя в неправильном произношении, зато «свои» получают массу наслаждения от твоих ошибок), заметила мне на заправочной станции: «Вы не сказали: «Плиз». Пауза. Я удивлённо смотрю на неё. «Когда просишь бензин, то нужно сказать: «Регуляр, плиз». Вы же сказали просто: «Регуляр». Почему русские такие невежливые?» Я ответила, что заправщик мне не понравился, а

если бы понравился, то я бы не только «плиз» сказала, а даже дала бы ему чаевые.

Ну, какое кому дело — нравится или не нравиться тебе заправщик? — задала я потом сама себе вопрос. Почему я вкладываю эмоции в самые пустяшные дела? А может это неравнодушие к человеку? Проявление участия? Но ведь это обман, на самом деле мне нет никакого дела до него, как и ему до меня. И что же? Высказывать свои эмоции где попало, по любому поводу? Доказываешь какую-то свою правоту с жаром, даже перед теми кого и не уважаешь, и так увлечёшься своими чувствами, что через полчаса чувствуешь себя глупо, нелепо. И зачем спрашивается? Я всегда вспоминаю, как американский журналист, присутствуя на первом собрании эмигрантов, где каждый хотел перекричать другого, сказал: «У русских никогда не будет демократии… они не уважают друг друга». Повышенный, бурный тон в публичных дискуссиях, как у людей с Востока, чужд англоязычной публике, американцы, могут просто ненавидеть друг друга, а посмотрите как корректно общаются, улыбаются, вместе обедают… Кеннеди с Бушами.

«Учитесь властвовать собой…» И я учусь «не у таких людей как мы». Теперь уже меньше получаю двоек, стараюсь почти всегда прибавлять «плиз» ко всему: «пластик, плиз», «не надоедайте, плиз», «идите… подальше, плиз». Но, как только приезжаю на родину, этот навык вежливости исчезает почти начисто, дышу родным воздухом и вместе с ним вдыхаю отдельные привычки. И уже в таможне вооружаюсь всем забытым арсеналом ответов, огрызаний и готовлюсь к принятию нападений. Почему? Воздействие этого места на моё бессознательное?

Конечно, никому непредназначенные американские улыбки делают реальность более гостеприимной, даже если за ними скрывается безразличие и пустота. А какие вежливость может создавать иллюзии? Кажется к тебе относятся даже с восхищением, довольны твоей работой, мнениями, «всё хорошо», — и вдруг сюрприз — ты оказываешься на улице — тебя уволили, отказали, или сделали ещё какую-нибудь гадость с улыбкой. (Мою сотрудницу Е. А. — химика из Одессы, американская профессорша, с которой Е. А. работала, пригласила на ланч — в благодарность, когда же они, наевшись и наулыбавшись, вернулись в лабораторию, то Е. А. нашла на своём столе копию жалобы, направленную в деканат, что дескать Е. А. перепутала какие-то химикаты, подписанные этой самой профессоршей. И мы только гадали: когда та написала донос? До ланча или сразу после, пока Е. А. заходила в библиотеку?) Чтобы понять что стоит

за вежливыми американскими словами и улыбками нам, привыкшим к выплёскиванию «правды вместе с матерью», требуется отдельный навык. В этой культуре сдержанности, недоговорённости, отстранённости, формальности, человек, воспитанный на цветастости, красноречивости, сочности, эмоциональности, теряется.

«Всё хорошо, мне нравится», — вежливо резюмирует Даничка, прочтя английский перевод моей книги. И я теряюсь.

Одни слишком эмоциональны, а другие — слишком формальны. Возможна ли искренность вместе с красотой и улыбками? Народятся ли такие своеобразные люди, соединяющие американский прагматизм и русскую эмоциональную душевность?

«Вы не должны рассказывать эту историю в присутствии американских женщин», — отозвав в сторону рассказчика, сказала американская приятельница нашему другу — профессору Бостонского университета. Что за история? — Анекдот про чукчу — «…так долго не живут», — «Американцы и так думают, что русские — дикари», — добавила она.

Я не буду углубляться в крайние феминистические взгляды некоторых американских женщин: не разрешать мужчинам подавать пальто, не смотреть сексуальным взглядом… много нелепого и смешного, и это требует отдельного очерка. С другой стороны многое из того что разрешают себе, наши русские политики, писатели, журналисты тоже безумно раздражает, беспардонность, высмеивания национальностей, возраст, женщин. И конечно, подобной дискриминации нельзя представить в серьёзной американской прессе. Политическая карьера господина Немцова в Америке закончилась бы сразу после того как он, выступая по телевиденью, (сама слышала) сказал: «Коммунисты ведут себя на выборах, как женщина в климаксе: каждый раз считают, что это — последний…» Мой любимый Иосиф Б. в своём эссе про путешествие в Бразилию в русском варианте пишет то, что в английском переводе или упускается, либо переводится нейтрально, а иногда даже заменяется на противоположный смысл: («Шведская вещь» о своей подружке — в переводе — «Скандинавская звезда». «Смуглые мордочки местного населения» в английском — «смуглые толпы» и подобное.) В другом эссе он объясняет: «Что ж, вполне возможно, что моё отношение к людям, в свою очередь, тоже попахивает Востоком. В конце концов, откуда я сам?»

Да, мы с Востока, и мне не раз было неловко перед детьми за свои «восточные» шутки, анекдоты. Некоторые из них, может быть, не такие уж страшные, но нет способа передать чужестранцу

советско–российские понятия. Попробуйте перевести в американскую реальность уникальность нашего опыта: коммунальные квартиры, вожди, Василий Иванович, Петька, Рязанское радио… И если русские шутки, анекдоты кажутся диковатыми и не смешными американским друзьям, то это не значит, что у американцев нет чувства юмора. Так же как нам не всегда смешны американские шутки. Просто другая направленность… не такая.

«И если бы нашим да такую свободу, да мы бы и Африку кормили», — говорил двадцать лет назад Донской казак. Время двигалось и тут и там. Коммунистическая система обвалилась, и нашим «дали» свободу. Но свобода не падает в руки как мячик, и принять её совсем не просто. Как в легенде о Великом инквизиторе, Кардинал говорит Богу: «Зачем ты взвалил на них тяжкое бремя свободы…» Люди не могут принять свободу. И эта тяжесть свалилась на голову русскому населению. Что началось?! Повсеместный разбой, вплоть до языка, — свобода порождает инфляцию слова, и язык моментально отреагировал на свободу и стал осваиваться в новой ситуации. Конечно, русский язык пережил советские сцепления, переживёт и «демократические вливания», потому как он «и могучий и великий», а «время… боготворит язык». Помимо успехов в засорении языка, предпринимательские фантазии нуворишей тоже развернулись в полную силу. Приватизация обернулась грабежом, все расхватали на корню, и африканцам ничего не досталось. В Америке в начале века, было нечто подобное: банды в Чикаго, разбои на дорогах… правда, несколько на иной лад. И в условиях разворота трудно сказать: чем отличаются «такие» от «не таких»? Наши — «круче», восточнее?

Донской казак стал в Америке богатым человеком — приехавшие чувствуют демократию и её преимущества гораздо острее, чем родившиеся в ней. Тут не мешают твоим начинаниям, а даже всячески поддерживают «деление с народом», — есть узаконенная традиция деления, и американцы двести с лишним лет крутятся в свободном вращении, «ковбои верят в закон и низводят демократию до равенства людей перед ним: т. е. до охраны порядка в прерии».

Поведение человека старомоднее, чем ракеты, автомобили, компьютеры, и он остаётся, как есть — присвоит себе всё, что плохо и неплохо лежит. И как не восхититься Конфуцием, за пятьсот лет до рождения Христа, учившим, что «всегда и везде чиновники разворуют всё, но нужно чтоб хоть немного делились с народом». Хотя человек о нравственных императивах должен узнавать из книг, а не из сводов законов, но как правило, он

читает макулатуру, поэтому пусть хоть верит в законы, определяющие общественный порядок, устанавливающие правила, чтобы различать — что можно и что нельзя. (Опять восточные напевы и поучения?)

Американцам свобода досталась «по наследству», а русские, можно сказать, её сами завоёвывают, и отбывают только первые десятилетия. Человек не подготовлен к столь стремительным переменам, впадает в крайности, истерики, депрессии, и уж конечно, продолжает обманывать государство, считая его врагом. Говорят, в детстве, воруют от недостатка любви, поэтому нас можно понять. Возникнет ли такая любовь между людьми и устройством страны, чтоб по–чёрному не воровали? Никто не знает. А вдруг со временем мы превратимся в законопослушных — и станем «не такими»?

В экстремальных или пограничных ситуациях отдельные люди не могут оставаться наедине с самим собой; так я, при переезде в Америку, хотела раствориться, забыться в общении с людьми, по–нашему, по коммунальному, — жить «без забора». Житьё в коммунистическом режиме создавало общность, какой-то домашний уют, иллюзию единения. «Только рабы на галерах знают друг друга», — говорит Тассо. Своё внутреннее состояние — страх перед неизвестностью, тоску по дому, неуверенность, незнание языка, отсутствие работы — я переносила вовне, — туда, где большинство людей ищут причину своей печали, дискомфорта, неудовлетворённости. И тут под рукой Америка и американцы.

Ведь предыдущая жизнь в психологическом смысле для многих была более комфортабельной, чем вновь приобретённая, о прежнем в памяти остаются отобранные детали, сценки, события, — то, что хочется хранить. У Донского казака хранилась его привязанность и любовь к юности, к Дону, и он отождествляет себя с лучшим, что тогда было. И ему кажется, что там и люди были другие, не такие, как американцы, отчуждённые индивидуалисты, а идеальные, дружественные, нескучные. Неизвестно, что бы он сказал, постоянно живя среди своих «френов». Враждебность окружения, как известно, часто растёт пропорционально длительности твоего в нём пребывания, и отношения между людьми могут измениться на полный оборот. Ведь если взглянуть на отношения среди наших эмигрантов, то ясно видно, что со временем люди устают от себе подобных, и… «учтиво не узнаём других, чтобы и они нас не узнавали». На расстоянии можно дольше не менять оборота. Короткость по времени и дальность по расстоянию сливаются в одно слово — «дольше» (в слове «дольше» время и пространство вместе).

Пройдя, то что испытывают многие люди при адаптации: эйфорию, боль, очарования, разочарования, я рассталась со своими коммунальными замашками, и кажется, поняла смысл стихов Фроста: «Забор хороший у соседей добрых». При хорошем заборе дольше сохраняется хорошесть отношений. И эта особая отстранённость — забористость между людьми — теперь уже не представляется мне такой ужасающей, как в первое время, а чрезвычайно американской манерой поведения. И я почти её разделяю, хотя и не без сожаления об утраченном и иллюзорном «захаживании на огонёк».

Среди наших, да и не наших, «таких» и «не таких» — фатальный разрыв между идеями и поступками — между фасадами и дворами. Возможно, у американского человека, для своего же блага, охват «идей» меньше, а «забор» в сознании чуть побольше. (Вокруг домов вообще заборов нет, но есть чёткие границы.) Как известно, весь миропорядок в конфликте с отдельным индивидуумом, и чуждость американского общества, — больше «она» или меньше любого другого, — остаётся под вопросом. В конце концов везде приходится выбирать одиночество. Что же касается индивидуального в сознании, то в Америке его ничуть не больше, чем где бы то ни было, — и тоже мало кто может похвастаться независимыми решениями, самостоятельностью мышления, оригинальностью.

Люди везде ещё люди, со своими судьбами, и «такие» — в России, и «не такие» — в Америке. На фоне бедности, бездеятельности, безответственности — «такие» — это «свои», «мы», «наши» — желающие последних слов и последних вопросов; а в блаженной стране Америке — «не такие» — это «чужие», «они», «не наши», «ихние» — без жгучих желаний проникать за поверхность вещей. Есть какая-то непостижимая тайна между чувствами и рассудком; и роковую черту не хочу переступать, (да, и не найти её) потому уклонюсь от ответа: такие ли люди американцы, как и мы? Противопоставления часто приводят к стереотипным и банальным суждениям. То-то и оно, что наши оптовые оценки мало чего стоят — и лучше уклоняться от обобщений. Ведь ярлыки, рассуждения в общих категориях, часто многое упускают, и всегда утверждаются за счёт других.

Остаюсь на линии горизонта, и не заглядываю за него. Однако линия горизонта есть только в нашем воображении, — это идея, фикция, обман. Мечты и сравнения почти не имеют отношения к реальности. И нельзя стоять на том, чего нет… Но ведь есть Добро и Зло. А попробуйте провести между ними чёткую разделяющую черту? Каждый проводит свою, где хочет, по своему усмотрению и в своих интересах.

И каких только линий не нарисуется: прямых и расплывчатых, параллельных и пересекающихся, скользящих, лазерных, извилистых, фрактальных, бесконечно извивающихся и во времени и в пространстве, а иногда просто повисающих в воздухе… И все они существуют. И твоя тоже. Такая она или не такая как у других?

Записки из Вандервильского дома

Кто бы мог подумать, что я окажусь в Америке! За границей я ни разу не была, хотя с детства мечтала побывать в сказочных таинственных странах, ещё тогда, когда снежными зимними вечерами сёстры читали мне сказки, и потом в молодости, когда ночами восторгалась французскими романами и вместе с героями бродила по волнующему Парижу. И вот только в семьдесят лет мне удалось выехать. Неведомая и загадочная американская жизнь и я — представитель доживающего русского поколения.

Дочь намного раньше меня уехала в Америку и письма писала. Уговаривала нас с отцом переезжать, но мы и думать не думали, и ни в какую не хотели насовсем уезжать на чужбину. «Не под чужими небесами…» — как писала Ахматова — «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам», и как пели в наших песнях: «Не нужен мне берег турецкий…» Конечно, навестить родных и посмотреть Нью–Йорк, Рим, заграницу было привлекательно, но нам отказали в визе, сказав, что нас выпустят, если мы оставим Россию навсегда, без возврата. Как покинуть то, что любишь? Всё бросить, родных, друзей, людей, с которыми прошли весь путь — от весёлых патриотических возбуждений и надежд до полного падения коммунистических иллюзий. Ведь мы сроднились со всем своим поколением, со всем что переживала Россия, то переживали и мы. Вместе со всеми я встречала и переживала ужасные и грандиозные события второй мировой войны, блокаду, очарование Сталина и разочарование в нём. И первый спутник, и весь Космос, и падение Союза. Я любила свою родину, находила во всём только позитивное, и другого я ничего не могла представить.

Долго собиралась я в эту Америку. У меня внутри много разного в сторону Америки шевелилось. С одной стороны вспоминала, как после войны приходили американские посылки с вещами и продуктами, тушёнкой, какао, а с другой — какой-то протест был в душе, слишком уж все гордятся этой Америкой. С одной стороны тайное любопытство, а с другой страх перед неизвестностью. Только после смерти моего мужа поехала в гости: посмотрю, думаю, своими глазами на вашу хвалёную Америку. Но случилось так, что мне пришлось остаться тут надолго, уж, видно, навсегда. Вот уже восьмой год живу в Америке. Чего только я тут не насмотрелась и не напереживалась! Внуки и дочка всё время просили, чтобы я описала свои впечатления про американскую жизнь, как встретилась русская бабушка со своими американскими внуками, как приспособилась

к новому миру, что и как приняла и чему удивилась. Напиши да напиши!

— Это для вас интересно, а посторонним читать про старую бабку какое удовольствие? — отвечаю я. Что нового я открою про Америку после Колумба? И что такого особенного я расскажу? Ведь всем интересно читать про красавиц и принцев, секс, чтоб сладко глаза зажмурить и не думать о повседневности, а вы хотите меня, простую женщину, выставить на всенародное обозрение? И чего вы ожидаете от меня? Конечно, мысленно я здесь многое передумала, пересмотрела разные свои отношения, но сколько ещё остаётся непонятным, и как ещё ускользают значения отдельных событий. Как будто кто-то протянул мне лист репейника, вдруг превратившийся в скатерть— самобранку или плывущую лодку.

И всё-таки уговорили меня записать, что со мной здесь происходило и происходит. Вроде как работа у меня появилась, мне даже стало любопытно: как у меня всё получится? Все мои силы обратились к этой деятельности. Я сказала сама себе и им: «Делайте потом что хотите с этой разнородной смесью и моими мозаичными соединениями», но принялась писать, чтоб скучно не было.

Приступила я к запискам на следующий день после «маленькой истории с дирижёром, стоящим спиной к публике». Один эпизод, к собственному удивлению, подтолкнул меня к записям. Вот как всё началось.

Мы всей семьёй слушали оперу. Дирижёром был пожилой господин, вот только забыла его фамилию, какая— то немецкая, и программку концерта того вечера никак не могу отыскать, чтоб вспомнить. Ну это не так важно, а удивительно другое: он так бойко размахивал руками, так подпрыгивал, радовался, летал вместе с музыкой. Меня это поразило: в таком возрасте! Ему было 82! Потом когда мы обсуждали музыку, публику, дирижёра, дочь сказала:

— Дирижёры живут на свете дольше всех — всегда в музыке и в движении, — а я добавила:

— И спиной к публике!

— Бабушка, как ты могла так сказать: «спиной к публике?» Ты всегда жила «в публике», а тут у тебя изменилось сознание, ты почувствовала себя индивидуумом! — восторженно закричал внук Петя. И пока все они обсуждали мои слова, он прибежал с тетрадкой, похожей на альбом, и сказал:

— Бабушка, пиши! Ты философ!

— Да разве мне понять, что там умные люди, философы, рассуждают? Про высшие материи я не люблю говорить.

Писавших об Америке столько, что мои взгляды утонут в этом потоке мнений и впечатлений. У меня никогда не было желания казаться выше, умнее.

— Бабушка, не преувеличивай своей обыкновенности, напиши, как тебе всё кажется, опиши разговоры с Машей, со мной, с родителями, с соседями, Феликсом… Так и пиши, — убеждал меня Петя и прочёл мне целую лекцию, как это будет всем любопытно.

— Ведь в каждой эмигрантской семье отыщется такой дедушка или бабушка! Через призму своего коммунистического опыта ты опишешь американскую жизнь, впечатления и факты. И как изменились некоторые твои воззрения. Это будет исторически интересно, встреча взглядов русского человека, прошедшего весь советский период, и твоих внуков — нового американского поколения.

И убедили они меня, я решила, что буду писать всё как вижу и видела, без всяких прикрас. Мои сведенья личные, может, и не всегда точные, нестройные и сбивчивые, но мои. И не обязательно всем соглашаться — думайте иначе! Найдутся и противоречия в моих записях, иногда вдруг так подумаю, а другой раз переменю это представление, к примеру, о женщинах, о неграх и о всякой другой всячине. И с первого взгляда можно совсем иное заметить, чем по прошествии лет. В Америку я ехала с одними взглядами, а оказались другие, и поначалу мне Америка не так представилась, как в последствии. Изначальность — есть ли подлинность? И если бы теперь кто-нибудь из прежних увидел меня — не поверил бы что это я, — так изменилась я и по внешнему виду, а главное, по внутреннему своему состоянию. Как говорит Петя «у бабушки произошла переоценка ценностей».

Вставлю два слова о том, кто я. Родилась я в самой глубине России, в Рязани, через три года после Октябрьской революции. До революции мой отец был священником, а после — бухгалтером в большом конном совхозе. В нашей семье было семь человек детей, я была младшая. В семье не было ни раздражения, ни беспокойств.

Воспитывали нас в старомодных взглядах: не врать, не ломаться, вести себя просто, не испытывать ни к кому ненависти или отвращения. Отец говорил, что все люди братья, учил нас никогда не делать другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Всегда настаивал, что умный человек при любых обстоятельствах должен находить себе дело. Я уважала отца и всю свою жизнь помнила его воспитание. (Вот и сейчас припомнила его слова о деле.) В семнадцать лет я поехала в Ленинград учиться, там жила семья моей старшей сестры. Перед самой

войной я окончила учительский институт и вышла замуж за однокурсника. Из-под венца муж ушёл на фронт, а я осталась в осаждённом городе и пережила ленинградскую блокаду. Выжить очень помогли золовки, они делились со мной и с семьёй моей сестры хлебными карточками и своими деревенскими припасами. Во время войны я встретила много хороших людей. Я не могла и не хотела видеть недоброго отношения между людьми. Муж вернулся с войны живым, был писарем у маршала Рокоссовского. Вместе с мужем начали работать в школе, я преподавать русский язык, а муж математику. Появились на свет две дочки Лена и Лиза. Жили себе и жили, работали. И вдруг старшая, только окончив театральный институт, уезжает прямо в Америку. Она ещё в институте вышла замуж за еврея. Не могу описать, как тяжело для нас было расставаться с любимыми, с чувством будто подписали смертный приговор, мы дали разрешение на выезд. И хотя муж к тому времени важный пост занимал в системе образования, но против дочкиного желания не мог пойти — любил её.

— Пусть испытывает судьбу и живёт по своей воле, — так и сказал. Как сейчас понимаю, любил дочку больше, чем «общую идею».

В Америке дочь поменяла специальность театрального критика на программиста, второй раз вышла замуж, родила Машу. От первого мужа, с которым развелась, у неё остался сын Петя. Одни внуки вырастали в Америке, другие в России, одна дочка тут, другая там. И сердце моё разрывалось между ними. И вот в самом начале перестройки я приехала в гости к моей старшей дочке Лене.

Я не забуду своих первых мгновений при подлёте к Нью–Йорку. Под самолётом Америка сразу ошеломила меня мельканием в одно и то же время машин, огней, домов, людей. Всё в сверкании, огни клубятся, ни одного облачка, самолёт дрожит, под нами всё несётся, прыгает, вокруг самолёта звёзды крутятся. С птичьего полёта Нью— Йорк стелился без конца и края. Целое море блеска, взглядом не охватить это чудо. Исполин, а не город. Фантасмагория. Неисчислимые огни, автострады, спуски, тьма людей, взад и вперёд всё несётся и воет. Другая планета. Марс.

Но на колени перед Нью–Йорком не встала: улицы узкие, как ущелья, теснящие дома, без всякого ансамбля, никакого соответствия между зданиями, и маленькие, и большие — всё перемешано. Гудзон не произвёл на меня впечатления, река как река, — Нева красивее, у нас есть набережные, мосты, а тут к воде не подступиться, не подойти, вокруг только одни рабочие

площадки. Удалось встретить коней с колясками, с извозчиками в цилиндрах, кареты будто из сказки, с удовольствием на них глядела. А люди отличались своим смешным видом, одеждой, неграми, весёлостью. На лицах не попадалось тягостного выражения, все как будто без переживаний. Пьяных на улицах не видела, никто спиртом не отзывался, да и курящих тоже не встретила. Но вовсе не понравились женщины, одеты кое-как, замшелые, заполошенные, неприглядные.

Нью–Йорк блеснул, как молния, как виденье — я только вскользь его обсмотрела. Через два дня полетели самолётом из Нью–Йорка в город, где жила семья дочери. Когда оказалась в американском самолёте, то стала всё оглядывать. Самолёт как самолёт, самый обыкновенный, ничего особенного, у нас даже больше есть, и стюардессы наши намного красивее, хотя эти внимательные, но всё равно не скажешь, что красивые.

Первый заграничный завтрак тоже не больно-то понравился. Всё чёрствое, запаковано, залеплено, замуровано — ничего не открыть, до сих пор удивляюсь на эту американскую запакованность. Всегда мучаюсь с открыванием. Американцы ко всему приставляют всякую всячину, чтоб больше денег брать. Конечно, не хочешь — не бери, но как соблазняют! В самолёте первого кровного американца увидела, что рядом со мной сидел… Разглядела его близко: тоже ничего особенного, как Гудзон, с подстриженными усами, с полноватыми щеками, лет сорока, лицом похож на нашего бухгалтера Василия Семёновича из жилконторы, такой прилизанный. Одет в блестящую полиэтиленовую куртку. Журнал всю дорогу разглядывал и крутил его перекручивал. И чего там такого выискивал? А впереди ехал негр, небрежно рассевшись в кресле. Живого негра я видела так близко впервые. Он иногда поглядывал в окно. Весь в золоте: браслет на руке, на шее огромная цепь и сверх неё маленькие цепочки, на пальцах кольца. В одном кольце камень величиной с булыжник, как повернёт рукой, так всё осветит, ну чистый бриллиант. Громыхал он своими цепями, громыхал, что самолёта не слышно было. И то ли пел, то ли сопел или что-то шептал под нос и рот держал открытым. А может, у него просто такой большой рот? Не успела хорошенько всех обсмотреть, как вышли из самолёта. Тут встречи, объятия, дом.

В первые дни я глядела на всё вокруг дочкиного дома, ходила вдоль улицы взад и вперёд, присматривалась, прикидывала, сравнивала. Тишина улицы неимоверная, ни людей, ни машин, ни магазинов, ничего. На улицах никого не бывает. Во время прогулок и осмотров я время от времени присаживалась где придётся, привычных нам скамеек не попадалось, а ведь устаёшь.

Через шесть домов от нашего, около внушительного кирпичного трехэтажного дома с барельефами, у крыльца была удобная приступочка, как завалинка. Я облюбовала её и сидела на ней. Никого нигде нет, одни только бегуны да те, кто с собаками прогуливается. Посижу и иду дальше. Удивляюсь, какие дома все разные, к одним приделаны веранды и верандочки, другие как замки с круглыми башнями. Попадались и с прямыми колоннами, и с римскими, и с готическими, один попался, ну в точности как наш русский терем с кружевными ставнями, с завитушками и круглыми боками. Крыши все крыты добротной дранкой и черепицею, а некоторые тонкими слоистыми камнями. Каждый дом со своим выходом, со своим характером, со своей жизнью и каждый с трубой. Хоть и не обнесены никакими заборами, никакой городьбой, кроме подстриженных живых изгородей, а не подойти. Посмотреть бы что-нибудь такое в этих домах.

Пишу много про дома, потому что они мне стали как знакомые, вместо людей я с домами разговаривала. Вишь какой стоит фешенебельный, но что-то краска на тебе больно яркая! А ты что-то пригорюнился, окна все законопатил? А этот двери так начистил, видно, ждёт гостей? Несколько раз переспрашивала у своих: неужели в таких домищах только одна семья размещается? Диву давалась: и зачем столько места?

Кажется, на пятый день моих прогулок, не дойдя ещё шагов сто до моей любимой приступочки, заметила, что рядом с ней что-то белеется. Это что же такое, думаю? Подхожу ближе, вглядываюсь: стоит скамейка вся новенькая, беленькая из плотного такого материала, как алебастр или мрамор. Среди травы, как Сивка–Бурка, из— под земли появилась: мол, Даша, присаживайся! Так и приглашают. Я даже покраснела, что кто-то заметил мои посиделки. Будто в мою тайну проникли. Невидимые хозяева приметили, что сажусь на их крылечко–завалинку и поставили нормальную скамейку. Я этих людей знать не знаю, не встречала, и какое им дело до меня? Пришла домой и рассказываю своим, как меня ихние американские соседи удивили и уважили. Может, это ваши знакомые? Нет, говорят, не знают их, но предполагают, что шибко богатые, автомобили у этого дома какие-то сверхскоростные. Петя сказал, что у этого дома видел стоящую амфибию — машину с поднимающимися дверями, как с крыльями. «Капиталисты, бабушка! Охраняют свою траву!» И мелькнуло воспоминанье, как в нашем дворе в Ленинграде сосед на крыше своего сарая гвозди набил, чтоб дети по крыше не бегали. И так их навтыкал, что несколько раз ребятишки ноги себе ранили, одного мальчишку на скорой отвезли. Вот так оберегают свою собственность. А другого

владельца «Волги», тоже из нашего дома, судили: он какое-то хитроумное устройство установил на своей легковой машине, откроешь дверь — током прошибает. И почти до смерти прошибло кого-то. У нас тоже собственники!

И не успела я оглянуться, как очутилась в американском госпитале, на восьмой день моего пребывания в Америке. Там такого навидалась, что не могу не рассказать. Батюшки мои! Куда попала?! Несмотря на весь страх, стала всё рассматривать. Приёмный покой, как аэродром, привозят на носилках с колёсами… Одного с полицейскими доставили, в цепях, видно, простреленный. Он громко что-то кричал, бесился, но как-то его быстро успокоили, видно, укололи и закрыли от всех занавесом. Каждого подключают к отдельному пульту и завешивают от других громадной шторой, ходящей на шарнирах. Дёрнут за верёвку и ты оказываешься в большой изолированной комнате с тьмой разных аппаратов, проводов, трубочек, показателей, графиков, компьютеров. Световые сигналы бегают со всех сторон, мне даже к пальцу прикрепили дрожащий огонь. Проводами всю обмотали. Осматривать меня стали по–всякому, один за другим подходили, не знаю кто они — врачи, сёстры, санитары, студенты? Кто в халатах, кто в резиновых рубахах, кто в фартуках, всё записывали и расспрашивали. Целый поток один за другим. Пришел со студентами профессор такой представительный, такой внушительный, что по замашкам я сразу его признала за главного. Так и оказалось. Он и делал мне эту сложную операцию. После его осмотра меня захотели положить в какой-то железный ящик, как гроб, и суют меня туда, и суют, я так стала орать, что меня оттуда вынули и больше не засовывали.

Дали какие-то зелья… я уснула, а как проснулась, то дочь сказала мне, что мне будут делать операцию на сердце. Я совсем не испугалась, а даже любопытно стало, как это всё будет происходить. Я была уже не в своей власти и думаю: чему быть, того не миновать. Помру в этой Америке?

Утром повезли на операцию. Оказалось, целых восемь часов мне заменяли изношенные клапаны на новые, которые вырезали из моих ножных вен. Очнулась из небытия я по дороге в палату, сжала руку сестре, которая меня везла, она аж вскликнула и будто даже обрадовалась, что бабка живая. Сразу мне дали лёд сосать и через трубочку начали поить. Положили на волшебную койку, которая при помощи кнопок двигалась во все стороны, вниз, вверх. Изголовье на любой высоте. Одна в палате. Наверху подвешен телевизор, рядом телефон. Моим родным врачи сказали, что операция прошла успешно. Дети цветов притащили, внучка Маша кругом их расставила. А как же я буду общаться-то?

Только два–три слова знаю на ихнем-то на американском языке. Спросить— то как? Тогда внуки написали список по–английски и по— русски, двусторонний, для меня, — хочу пить, хочу встать,… и для врачей — что болит? где? как?… Это список у меня и сейчас жив.

В госпитале поразило, как сёстры так быстро и так ловко всё делают, так… шевелятся, что не угнаться, так искусно всё выполняют, а отдельные просто — артисты. Такие профессионалы! И что ещё было странным, по утрам при смене белья с меня рубашку не снимали, а разрывали, чтоб меня не вращать. Я когда увидела, что сестра порванную рубашку выбросила и что такое добро выкидывают, мне аж нехорошо сделалось. Жалко стало, такая хорошая вещь.

На вторые сутки пришёл ухаживать за мной ночной дежурный негр. Сам темнее ночи, наклонился ко мне, — я обомлела. Он подмигнул мне, показал мне большой палец, что мол, всё хорошо! И принёс мне сок и таблетки. Мы с ним разговорились. Как? Руками разговаривали, и понимали друг друга.

Сначала разговора у него обе руки были заняты, но он освободил их для общения. Перво–наперво он дал понять, что любит Россию и русских. «Рашен, — говорит, — гуд». Я киваю головой: «Очень гуд! Да!» — «Сталин — бед, бед! — и будто бы пистолет из пальцев сделал и показывает, — Пуф! пуф!» — мол, людей убивал. — «О'кей! — говорю, — очень бед, плохой человек». «Хрущёв! — тут он засмеялся, — фанни». — «Фаня, — отвечаю, — большая фаня!» Тут он показал уши у Хрущёва, приложил ладони к лицу, потом снял башмак и смешно так скорчился, изображая, как наш вождь стучал сапогом в ООН. Хрущёв в негритянском обличии. Мне смеяться было больно, но я всё равно смеялась, думала, швы от хохота разойдутся. Вот бы по телевизору его показать, все бы ухохотались. А потом: Спутник! И как пошёл показывать, как спутник летает, аж до телевизора долетел. Горбачёв, Ельцин… Россия. Столько знакомых слов!

Видно, он тоже английского не знает? — подумала я. Потом спросила у Пети:

— На каком языке негры разговаривают?

— Бабушка, ты расистка.

— Петя, да какая же я расистка, если мы с ним вместе чуть от хохота не умерли!

Один был неприятный момент в госпитале: я сидела на кровати и боялась лечь без поддержки. Вижу: идёт такая красивая негритянка, врач или сестра не знаю, в белом халате, я её рукой позвала, мол, помогите. Она подошла ко мне, остановилась,

одела перчатки, положила меня, а потом выбросила перчатки и вымыла руки. Меня это так задело, что она, наверно, брезгует без перчаток до меня дотрагиваться. «Бабушка, — мне говорит Маша, это так и полагается, ведь, может, она идёт на операцию в хирургическую или после каких-то заразных». Но ведь другие так не делали, и это мне почему-то не понравилось. «Русские вкладывают своё эмоциональное отношение во все переворачивания», — заметил зять.

А вот что самое удивительное в госпитале: не дают залёживаться, уже на второй день обязательно велят встать, посидеть, а на третий постоять около кровати, а потом и пройти три шага. На четвёртый же день моего пребывания я, опираясь на руку сестры, утром уже прошла по коридору шагов двадцать. Тем же вечером, поддерживаемая под руки дочкой и сестрой, обошла вокруг пульта, где сидели врачи и сёстры. Вокруг этого пульта с круговым прилавком расположены все палаты, похоже как на аэродроме диспетчерская, из которой видно, что где происходит, так и тут все больные у всех врачей и сестёр на виду. Я заглянула в одну палату, две койки — обе пустые, в другую — тоже нет никого, и так почти во всех комнатах. Один–два человека на всём этаже. Говорят, дорого тут разлеживаться, дешевле медсестру на дом присылать. После того как я раза три–четыре прошлась вокруг пульта с сёстрами, сказали, что утром после обхода врачей меня выпишут. Это был шестой день после операции. Вот такие вот чудеса!

В последний день пришли все дети, принесли цветы. Во время прощального обхода врачей я сама поблагодарила значительного профессора, что делал мне операцию. Я приложила руку к сердцу и показала жестом, что оно теперь роскошное. Он улыбнулся. Я почти сама оделась. Специальные люди, сестра с разными указаниями и негр–санитар в кресле–каталке через парадный вход вывезли меня на свежий весенний воздух. Передо мною сад с большими деревьями… Листья только–только появились… Всё зеленеет. А воздух как будто с взморья. Я всем нутром втянула в себя этот воздух, и голова моя помутилась… Меня с того света вернули… сердце моё исправили… воскресили! Какая забота, какое участие, какое отношение! И чем я это заслужила? За что? Что такое сделала я Америке? Захотелось выздороветь и выдержать это испытание моего организма. Я перевела дух, схватилась рукой за сердце и, не отнимая локтя от тела, прислушалась: оно тихо–тихо радовалось и благодарило Америку.

— Бабушка, это ты перед американским флагом так сложила руки? — вдруг услышала я голос Пети. Я и не заметила, что

рядом стояла большая палка, и на ней висел американский флаг.

— Да, Петя, перед Америкой, перед врачами, перед вами… моими близкими, перед собой… Я сижу с новым сердцем. В моём возрасте в России никто не стал бы со мной так возиться — оперировать сердце. И защемило… Я осталась живой! Это ощущение привело меня в новое состояние И тут-то Америка меня сразу и взяла! С этой минуты я стала по–другому осознавать себя. Что-то изменилось в моём представлении об отношении к людям здесь и там. И обидно мне, что в чужой стране я почувствовала себя лучше.

Выздоровление шло для моего возраста быстро, почти без помех. Шрамы на ногах отлично заживали. Навещали меня сёстры, всё слушали, мерили. Как только плохо дышу, так говорят: везите в госпиталь, и там прямо на кровати откачивали жидкость из лёгких иголками. Несколько раз ездили, пока сам мой главный врач не откачал. Он всё сделал окончательно, ему сестра помогала, до этого молодые парни студенты кое-как возились, видно, халтурили, всё смеялись. Что и говорить, везде есть двоечники!

В период выздоровления у меня пробудилась первая американская зависть, смешно сказать, — крови захотелось! Чтобы поддержать организм, мне прописали два мешка свежей крови. Меня положили на кровать, подвесили мешок с кровью, вставили в руку трубку и стали накачивать. У меня сразу начала рука дрожать, потом я вся стала колотиться и не могу успокоиться. От новой крови я сначала замёрзла, а потом стало жарко, как в лихорадке, то жар, то озноб, попеременно. Рядом на койке лежит бабка, ну лет сто, не меньше, ей хоть бы что, лежит себе розовеет, наливается, а у меня плохая реакция. Мне дали только один мешок свежей крови, а соседке–бабке два. Она вся сделалась румяная, весёлая, её спина выпрямилась, морщины расправились, быстро встала и пошла веселиться. Со всеми шутит, смеётся, ходит, а я лежу, дрожу, нервничаю. Глаза закрываются от слабости. А так хочу тоже развеселиться! И так бабке завидую! А мне больше «веселья» вливать нельзя, и так мне обидно, что бабка два пакета крови получила, а я только один. Я всё хотела спросить своего врача назначить мне новое переливание. «Ну, и попроси», — говорит дочка. А я думаю, что это всё по блату, как-то неудобно просить, если сам врач не предлагает. Внук говорит, что ему в детстве тоже было обидно, что он не мог съесть три куска торта на дне рождения, а только два, и утром чувствовал себя обиженным, что упустил наслаждение.

Всего и не вспомнить. За операцию мы ничего не заплатили,

мне всё оформили бесплатно. Я удивилась, но мне дочь объяснила, что если человек попал в госпиталь в Америке, то ему всё сделают необходимое, а уж потом разбираются, может ли человек заплатить или нет. А у меня тогда не было даже номера, под которым тут все американцы ходят.

Нужно было оставаться тут в Америке после лечения. Нельзя же ехать в таком состоянии. Конечно, скучно тут. Целыми днями сижу одна, дети на работе, внучка в школе, Петя в университете. Как в клетке, хоть и красивой. Там вторая дочка, родные и друзья. А тут? Кроме семьи и кота — никого нет. Даже на улицах, как и говорила, никто не попадается. Безлюдье и тоска.

Но ничего не поделаешь нужно привыкать к одиночеству, к новой жизни, и нужно как-то определить свой статус, получить документы на американское житьё. Я вроде как «невозвращенка». Как же получить законное существование? Дочь мудрила и прикидывала. Наняла адвоката, пришёл весёлый такой американец. Как только зять сказал, что адвокат 200 долларов в час получает, так я сразу распознала, отчего он такой развесёлый. Этот адвокат все дела имел с еврейскими эмигрантами, а я-то как сойду за еврейку с такой фамилией? Волошина Дарья Васильевна. Адвокат сказал, что мне могут ничего не дать. У евреев есть свои готовые истории. Им ничего не нужно изобретать, всё и так известно. Мне же может помочь только закон об американской гуманности: если тебе 75 лет, то тебя никуда уже не выгонят… мне же до гуманности четырёх лет не хватало.

Думала дочь и придумала, что у меня второй зять мусульманин, его мать была татарка, то есть чеченец, басурманин, и что… «мама, мы разыграем чеченскую карту. Тебя, мама, выдадим за страдания мусульман».

Дочь объяснила, что выгодно для меня говорить, вспоминала вещи, о которых я забыла и думать: как не приняли в консерваторию, как у мужа были неприятности после того, как он водил по школам английскую делегацию.

И вот пришли на экзамен… в государственный небоскрёб. Всё кругом официальное, а дочь как переводчик со мной. Вошли в кабинет, представительный такой мужчина сидит за столом. Сверяет бумаги. Г осу дарственный человек. Наш приход сразу заметил, сказал приветствие. Сначала спросил имя, сколько лет, а потом поинтересовался: как мы жили в России-то?

— Очень хорошо жили, весело, приятно, все вместе ели, пили, — отвечаю. Я была всем довольна, на всё согласна и ко всему привыкла. Иное было время.

Дочь переводит. Я гляжу в окно, за стёклами дождь пошёл, так и шпарит по окнам. Обмывает небоскрёб.

— Вас никто не преследовал? — спрашивает экзаменатор.

— Нет, говорю, никто не преследовал. А про себя думаю: что я, преступница какая, воровка? В нашем роду все честно работали и никого не было, чтоб в тюрьме сидел и чтоб преследовали.

Дочь говорит что-то по–английски, я смотрю на неё, она как-то раскраснелась.

— У вас один зять еврей, а другой мусульманин?

— Да.

— У вас были неприятности из-за этого? Вас как-нибудь дразнили? Или называли?

— Никто нас не дразнил, называли нас «интернациональная семья», и мы дружно жили со своими соседями и окружающими.

А про себя думаю, почему же нас дразнить должны? Мы такие же как все, вполне достойные люди. Мужа моего все уважали, он потом работал в Профсоюзе учителей. Я, наоборот, оттенила, что мы приличные люди, со всеми в хороших отношениях.

Слышу, что дочь что-то долго переводит. А дождь всё хлещет и хлещет. На такой высоте отмыть окна не так-то просто, вот дождь и помогает.

— Вашего второго зятя выгнали из военной академии? — спрашивает экзаменатор.

— Сам виноват, плохо учился, — отвечаю я.

Этого зятя я терпеть не могла, больно гадкий и самоуверенный. Муж моей младшей дочери. Выгнали его из-за младшего брата, тот в тюрьму попал. Так и сказали: не уследил за братом, плохо на него влиял. Но, я тогда подумала, что это какая-то неосновательная причина.

Наверно, он приврал, а сам просто плохо учился. Лентяй и выпивоха.

— Его на улице избили, а потом арестовали как лицо кавказской национальности?

— Он пьяный был, его и побили, — отвечаю. Но сказавши это, я уже досадовала на себя, что сказала про пьянь-то, как-то стыдно наших людей позорить. Кто б его трезвого тронул? Он такой битюг. И не похож Аркашка совсем на лицо кавказской национальности. Я думаю, что за глупые эти чеченские бандиты! Ну, что они хотят? Черти окаянные! Их надо передавить, как клопов. Сколько плохого они делают для нашей страны. Да и для своей тоже.

Тут я вижу, что моя дочь стала совсем красная, возбуждённая, подняла глаза в потолок и, почти не шевеля губами, произносит: «Говори что-нибудь, стихи, песни. Покажи, что ты играешь на пианино». Я сделала пальцами движения игры на пианино. Я люблю играть народные песни, нравятся их мелодии, часто пою и

романсы, и частушки. Вместе с золовками любила сочинять. Но петь не попросили.

Слышу, что дочь что-то долго–долго говорит по— английски, на меня показывает, руками размахивает, что— то ему объясняет, разнервничалась. Достаёт газету американскую и в неё пальцем указывает. А представитель в книжечку всё записывает, газету взял, посмотрел и в папочку положил. Адвокат тут же сидит, напротив, но уже не хохочет, а смирный такой стал, только косится на дочь, ни словечка не говорит, но рот приоткрыл. Меня уже никто ничего не спрашивает, а только между собой по— английски объясняются.

Посидели мы так, посидели и вышли. Это, однако ж, не всё: я ещё показала свой серебряный крестик, который ношу. Почему-то дочь попросила, я и вынула его из-за пазухи. Оказывается, как потом мне сказала дочка, я должна была доказать, что я дочь священника — поповская дочка, и меня из-за этого не приняли в консерваторию. Это была правда, все так и было… Я так мечтала быть пианисткой. Поэтому-то и попросили меня «поиграть» пальцами.

Как только мы распрощались с адвокатом, то дочка меня строго так спросила, аж напугала: «Мама, почему ты так всё плохо отвечала?! Ты всё забыла, как я тебя подготавливала! ?»

— Почему плохо? Наоборот, я всё хорошо говорила, правду, как чувствую. Я не умею врать.

— Тоже мне князь Мышкин! Ведь мы добивались для тебя статуса «политического беженца», а какой же ты «политический» беженец, если тебе всё там нравилось, всем ты довольна? Почему же ты просишь убежища в Америке?

— А что же, я должна гадости про Россию говорить?! Жить теперь буду здесь, а там моя родина.

Дочка махнула рукой, и объяснила мне, что переводила она всё по–своему. Но экзаменатор заметил, что она всё не то переводит. Наверно, не совпадало что-то по ритму или ещё как-то так. Тогда она объяснила ему, что, мол, мать запуганная и до сих пор правду боится говорить и что, якобы, на меня устрашающе действует официальная обстановка. Оказалось, что у этого представителя жена из Бразилии, и она тоже всего боится и никогда не признаётся, что там люди исчезают среди бела дня. А я и не слышала про такие исчезновения.

Я многое тут узнаю о политике. Дочка так расписала мой страх, что этот государственный человек поверил и посочувствовал мне. Видно, жену любит! Ведь мне через две недели прислали статус: «политический беженец»! Я дочери только говорю, чтобы она никому об этом не рассказывала, ведь

кто-нибудь может донести, написать, что это не так, и меня ещё вышлют из Америки. Но она меня утешает, что американское правительство не пойдет против взрослой женщины, и не будет позорить своё гуманное отношение к людям.

Внук меня насчёт чеченцев пристыдил и объяснил мне, что они тоже люди, и мирно нужно договариваться. Как с бандитами можно договариваться? Потом и дочка меня пристыдила: как же так, мама, ты такая добрая, а так рассуждаешь? Запутали они меня окончательно, не понимаю я политической обстановки.

— Бабушка, — говорит мне Петя, — ты должна меняться.

— Как меняться, если я так привыкла?

Внуки совсем американские, сталкиваюсь по политике. Всё смотрю на них, чтобы больше узнать и заметить различия: середина столетия и его конец. Какие у них увлечения, взгляды? Есть ли у них наши романтические мечтательные идеалы? Похожи они на нас или нет? Замечаю, что слишком деловые тут, всё рассчитывают. Маша даже калории считает и считает! Я ей как-то сказала, что нужно высшую математику знать, чтоб такие формулы освоить. Вроде она ещё и не начинала есть, не накладывала ничего в тарелку, всё пусто, а она утверждает, что уже всё — наелась. У них такая мода, чтоб тоненькими— тонюсенькими стать, прозрачными, аж просвечивать. Одна девчонка в их школе такое воспитала отвращение к пище, что чуть не умерла: не хочет есть, да и всё! Я про такую болезнь и слыхом не слыхивала — «анерексия». Хоть внуки и употребляют странную и безвкусную пищу, но ведь всё равно есть-то надо. Вкус их утренних каш похож на саламату, что моя мать готовила, — она жарила, жарила муку в печке, чтоб мука сделалась коричневая, потом заливала её кипятком и добавляла масло. Маша с Петей разбавляют свои хлопья молоком и масло не кладут. Я попробовала, саламата вкуснее.

У меня тоже тут аппетит со временем прошёл. Поначалу я на всё набрасывалась. Без конца в китайские рестораны повадилась ходить, в России знала о них только понаслышке, и хоть я не стала есть ихних лягушек, устриц и всяческих морских тварей, но отдельные блюда мне очень полюбились. Сейчас уже так набаловалась, что ничего есть не хочу, не так, как по приезде, и не так, как в России. Вот раньше такое наслаждение получала от колбасы, ветчины или от обсасывания косточек у бараньей грудки. Я немного не туда забежала, вернусь к внукам.

Вот я посмотрю на внучку Машу, как тут женщины сызмальства приучаются себя уважать. Я читала ей поэму Пушкина про бабку, золотую рыбку и разбитое корыто, ей тогда только тринадцать лет исполнилось, русский язык у неё

наичистейший, с лёгким акцентом. Когда прочла, я спрашиваю:

— Ну, Маша, какой смысл, мораль в этой сказке? Ты поняла? А она и отвечает:

— Конечно, поняла, бабушка, нужно было бабке само й идти к рыбке, а не посылать деда!

Я так и обомлела. Вот тебе и на! Как американские-то девчонки рассуждают! Всё не по–нашему. У нас-то было объяснение: слишком много захочешь, — ничего не получишь. Здесь же всего хотят, предела нет. Я вот уж недавно сказала Маше: Не ходи в шибко трудный университет, выбери что-нибудь попроще. Как она на меня посмотрела! «Бабушка, у тебя отсталые взгляды. Тут женщины на равных с мужчинами, а не сидят за печкой!»

И как ни прикину, вижу, теперь мужчины должны приготовиться к матриархату. То-то, я смотрю, они всё больше на туземках, на раскосых островитянках женятся. Те, видать, не вбили ещё себе в голову карьерных идей. Женский вопрос, как у нас говорили, тут решается иным способом. Уж и не знаю, как это свободное общество устроено на какой идее? Кругом гражданские браки, новые статусы: какие-то гелфренды, бойфренды, не муж и жена, а тоже уважаемое состояние. У нас были некрасивые слова для тех, кто не приписан друг к другу, не расписан, уж как только не называли — ”сожительница», «любовница», уж не говорю о… более непристойных названиях. А тут вроде так и полагается. Мне даже это понравилось. Нет тут предрассудков, а что есть? Любовь или на вроде как? Разводы… Протесты. Но вот не нравится, как тут одеваются женщины, особенно молодые, иной раз просто срамота, всё разодранное, обвислое. Майки и трусы. Чего только я не насмотрелась на Маше и на её подружках, и время от времени мы с ней обсуждали их наряды.

Как-то она вместе с другой девчонкой появились разодетые в мужские пиджаки, да ещё размера на три больше. Ну, настоящие хламиды. Я разинула рот и стала пристально их рассматривать.

— Машенька, вы так, в этаком обличии, на улицу пойдёте? Откуда у вас эти обноски?

— Это нам дедушка Эстэр подарил, — отвечает Маша.

— А брюки на вас в гармошку, все в дырках, как у пьяного Васьки Клюя.

— Ты, бабушка, из пятидесятых! — со смехом сказала Маша. И через секунду добавила: — Такая сейчас мода.

Я хотела их ещё устыдить, мол, вы просто уроды, да вижу, они всё смеются, и я тоже начала смеяться.

— Смелые вы девки, — говорю, — как в деревне пели: «Вот и вышли — обе никудышны, обе неумелые, зато девчонки смелые!»

Себя изуродовали, чёрной краской губы намазали. Красоту всю замаскировали. Волосы закрыли шапками задом наперёд вроде тех, что грузинская шпана на рынках торговала. «Аэродромы» их звали. Ни каблучков тебе, ни туфелек, ни воланов на юбках говорят: «Ты, бабушка, из пятидесятых»! По–разному смеялись: они надо мной, а я над ними, над их нарядами. Хохочем мы, вдруг Машенька и говорит:

— Бабушка, у тебя буржуазный вкус!

— Это у меня-то? У нас считалось мещанством носить кольца и всяческие украшения, краситься.

— А что это такое «мещанство»? — спросила серьёзно Машенька, хотя смех ещё не сошёл с её лица. Моё первоначальное изумление сменилось размышлением, думаю, как всё объяснить? Как им понять, что самая молодость на войну пришлась, как нас готовили к жертвам… быть скромными… Как сказать этим молодым американкам, во что мы свято верили? Прюнелевые туфельки по булыжникам и перекрашенные, перелицованные платья носили. Я махнула рукой, думаю, глупо выставляться, нотации читать, где мы оказались с нашими идеалами? И что из того, что мы скромничали? Я — старая и они — молодые американцы. Что между нами? Океан, война, голод, коммунизм, идеи… — И с их стороны — благополучие, довольствие, ничем они не ограничены, неограниченность беспредельная… Где соприкосновение, в чём? И есть ли общая правда?

Нужно приспосабливаться и понять: что к чему? У них свои молодые мысли. Конечно, бесстыдство я не поощряю, но и от моды никуда не денешься. Наш разговор с Машей про штаны закончился тем, что я вместе с ней купила себе брюки в мелкую полосочку. Отвыкать приходится от платьев с оборочками и листиками.

Уже в первый месяц оделась с ног до головы, по— иностранному и, если бы я, так вырядившись в деревню явилась, меня бы признали за американку.

И сама меняешься и чувства все пересматриваются. С самого первого дня внуки и дочка всё переделать меня пытаются, а я целый век жила непеределанная. Мало помалу, с трудом и размышлениями я начала преодолевать свои привычки, хоть мне и не хочется в этом признаваться, но дети хотят, чтобы я именно об этом рассказывала.

Ещё в первый месяц моего американского житья к дочке приехал её знакомый литературный профессор, и мы отправились на Кейп–код. Все говорили: Кейп–Код! Кейп— Код! Тресковый «колыбельный» мыс, там действие «Моби Дика» происходило. Курорт! Что, думаю, это такое? Длинная песчаная коса,

врезающаяся в море, с маленькими деревянными домиками, с заскорузлыми просоленными сосёнками, ничего особенного. У нас в Карелии красивее. И разве это наши Сочи, с пальмами и белыми дворцами?! Разве это Гагры? Одна пародия на курорт. Немного похоже на Карелию, но не те камни, хотя тут есть океан. На самом краю этого Кода, в небольшом городке зашли в ресторан, такой шикарный, с медалями и наградами за лучшие рыбные угощения. Рыбьи чучела по стенам развешаны.

Лена говорит:

— Выбирай, мама, что хочешь: рыбу, устриц, тюну, лобстеров, мясо… Ну, что хочешь? Это… это или это?

— Да что дадут! — отвечаю я.

Профессор вдруг так сочувственно говорит дочке:

— Вот видите, как в России, — «что дадут», всё примем, всё съедим, и никакой ответственности. «Сказали, дают…» Такая российская убогость.

Они с дочкой долго обсуждали, почему я так сказала?

А почему я так сказала? Да потому, что так привыкла. Я верила в то, что говорили. Привыкла, что ты ничегошеньки не стоишь ни для кого, везде тебя унизят, оскорбят, обхамят. Это у нас так принято — и привыкаешь.

Сейчас у меня уже меньше стало самоунижения. Иногда даже удивляюсь на себя, как поменялось моё ощущение. Мне теперь иногда становится стыдно, что мы, русские, с одной стороны, всё к дверям жмемся с железной кружкой, а с другой, напускаем на себя бог знает какую важность. Как в стихах Ахматовой:

> Но в мире нет людей бесслёзней,
> Надменнее и проще нас.

У моей американской внучки Маши совсем нет — «что дадут, то и возьму». Пошла она устраиваться в модный магазин на летнюю работу — продавать их вещи. Оделась, как всегда в удивительное, на этот раз в ночную рубашку с тонкими бретельками, ногти вымазала синя–чёрным лаком, волосы мелким бесом по лицу и плечам раскидала.

— Маша, ты так идёшь на работу устраиваться? — спросила я.

— Да, бабушка, я иду в самый роскошный, дорогой магазин, хочу там поработать летом продавцом. Мне хочется быть именно в таком магазине, где есть красивые вещи.

Я в удивлении посмотрела на неё, но ничего не сказала, я уже начала привыкать к их неограниченности. Любопытно, чем кончится этот поход?

Маша вернулась с интервью и сказала, что хозяева предложили ей меньше денег, чем она запросила. «Ну, и что?»

— Я повернулась и ушла, — сказала Маша.

— Так и ушла? Не согласившись? — удивилась я. Они тебя брали?

— Да, но я им сказала, что мне этого мало, и хотя работа в их магазине мне нравится, но я хочу получать больше.

Я смотрела на неё с каким-то смешанным чувством страха и восхищения:

— Ты прямо так и сказала, что мало денег вы мне даёте?

— Да, так и сказала, вы мне даёте не столько денег, сколько я хочу.

— Маша, да как же так можно требовать, может, у них больше нету? Ведь ты же хотела там работать, почему же не согласиться?

— Бабушка, но ведь я хочу работать за то, что я считаю нужным.

Я стою разинув рот, смотрю на весь её гордый, разлохмаченный вид, про себя удивляюсь, а она продолжает:

— Но, бабушка, только я вышла из магазина, как хозяйка меня догнала, позвала обратно и предложила мне столько, сколько я хотела. Теперь целое лето я буду наслаждаться продажей изумительных шарфов и сумочек. И более того, они сказали, что за хорошую работу я буду ещё дополнительно получать от магазина разные подарки. Бабушка, важно, как держать себя!

Вот тебе, на! И почему-то у меня радостно забилось сердце от такого Машиного дерзновения.

В конце лета Маша получила обещанные награды, подарила мне и матери по шёлковому серебристо–серому нашейному платку, вручную расписанному, а себе оставила кожаную коричневую сумку в виде мешка с разными карманами, какой-то дорогой фирмы. Что хотела, то и получила. «Что дадут» — не взяла.

Учись, бабка!

И чем Америка берёт?! Очень заботятся о человеке, а там люди сами по себе. Никогда из книг не научишься тому, чего своими глазами не увидишь и не прочувствуешь на себе действие достойного отношения. В России смотрят на тебя, как на существо слабое, старое, «ну, что с него взять, он старый», вроде как низшее существо. Часто прямо в лицо говорят и по телевизору, и в газетах: — давайте дорогу молодым, старые идите на пенсию, не мешайтесь под ногами на дороге. Вы уже лишние. Молодые снисходительно к старым относятся, с какой-то жалостью, как к маленьким детям. Что с ним разговаривать? Ему

уже столько лет. А ведь жизнь раскачивается наоборот, в сторону мудрости. Тут возрастом тебя никто не попрекает, наоборот, говорят вам приятные вещи. Мои американские внуки слышать не хотят, что я старая. Такая разница! Я и вправду тут помолодела. Меня Маша даже на концерт рок— музыки приглашала.

Вот какой разговор у меня как-то раз с ними произошёл:

— Маша, что это за музыка, когда негры кричат, бегают по сцене, как шальные?

— Рэп, бабушка. Это современные песни, они нам нравятся.

— Про что же это они распевают в этом рэпе?

— Про жизнь в Нью–Йорке, про любовь, бабушка, про политику, неравенство.

— У нас в деревне парни под гармошку так же орали, тоже в рэпе, в темпе взвизгивали и подпрыгивали. Пыль из-под сапог, как из-под коней вылетала, друг за другом по кругу отчебучивали, и тоже выкрикивали разные лозунги.

— Бабушка, — стал рассказывать Петя — рэпе тоже возник на улицах, во дворах Бронкса, как самодеятельность, в конце семидесятых, ребята соревновались кто кого перекричит. Одевались в робы под африканцев с бусами и побрякушками. Бронкс против Квинса. Сначала был просто речитатив, а уже потом добавили музыку.

— Ну, в точности, как у нас в деревне, Бролино на Ощерино с переплясом. Только в наших деревнях это было в конце пятидесятых, значит, наши обогнали ваших негров в речитативе, — сказала я, а потом с грустью добавила, — правда, к семидесятым у нас это всё заглохло, молодёжь уехала в города. И петь перестали.

— Десять лет назад в нашей школе белые тоже не слушали рэп, а сейчас а в Америке рэп стал таким популярным, как Битлсы. Есть свои философы, и теперь не только выкрикивают стихи под музыку, но соревнуются в изысканной рифме. Один даже вводит элементы образования.

— У нас тоже были образовательные, смешные речитативы, случалось, и матершинные, тогда их называли: «частушки с картинками».

— Да здесь тоже иногда поют «с картинками», — сказала Маша и усмехнулась.

— А этот отбеленный негр как вытанцовывает, ну в точности, как Генка Колбаса. Наш такие колена и па выдумывал, плясал до забвения самого себя, взвизгивал и такие сочинял прибаутки, что вся округа сбегалась смотреть на него. На этого, вижу, тоже сбегаются. Вот только Генка всё бесплатно прихлопывал, а у этого американского плясуна такое поместье, что он по нему на

собственной пожарной машине разъезжает, будто десятилетний!

А эта певица, что выходит без рубахи, без порток! Я смотрю и удивляюсь: ну что может нравиться? Запыхается, валяется на сцене, перекручивается. Непристойные гримасы и фигуры показывает. Голос обыкновенный, ну не скажешь, что значительный.

— Бабушка, а мне нравится, как она поёт, мы с подружкой через месяц пойдём её слушать. Хочешь, пойдём с нами? Ты сама и послушаешь, — сказала Маша.

— Представляю, если я там окажусь, скажут, бабка-то сбрендила! Может, ещё на доске поехать?

— Да никто так не скажет и не подумает, бабушка. С нами дедушка Эстэр ходил на один концерт, как бы для охраны, но ему так понравилась эта рок–опера, что он теперь часто напевает оттуда «Джизус Крайст — суперстар!»

— А что это, за мода ломать инструменты? Швыряют их прямо в публику. Один вдребезги разбил хорошую гитару. Мне так жалко её было, а публика хоть бы что — веселится, расхватала осколки как сувениры. Другой вскочил на рояль и начал ногами колошматить по крышке… Грохочет рояль. И это концерт? На сцене будто сумасшедший дом, девки мужиков распаляют, кривляются, те на них набрасываются. Такие циничные танцы. Никакой красоты. Говорят, у нас тоже так сейчас всё идёт в этом направлении, но в мою молодость такого не было. Наверно, и вправду, я из пятидесятых.

— Бабушка, а сейчас двадцать первый! Тебе нужно найти себе какое-нибудь занятие, — говорит мне Петя. Хотела ответить, что я уже старая находить себя, но отговорилась частушкой из нашего русского рэпа:

Ко мне дроля подошёл:
Милка, я себя нашёл!
Он нашёл, и я нашла!
Борьба за качество пошла!

А с этими неграми я сколько напереживалась! Внуки меня всё в расизме упрекают. Однажды ехали по негритянскому кварталу и вижу: кругом всё несколько в мусоре, но нет неосвещённых подъездов, парадные хоть и с мусором, но не грязные. Не знаю как правильно сказать: мусор есть, а грязи нет. Видели как стоят стулья на месте, где нужно припарковать машину. Спрашиваю, а почему стулья выставлены?

— Это так занимают места для парковки — отвечает мне Петя.

— А что если кто уберёт стул и поставит свою машину?

— Ему проткнут шины, и он больше никогда не отодвинет чужой стул. Такой неписаный закон.

Негры сидят прямо на панели. Развалились.

— Что это они так расселись? — спрашиваю. И уже открыла кошелёк, чтобы милостыню дать.

— Они так просто сидят — отвечает Маша.

— У нас так не сидят, а если сидят, то рядом шапка — кладите денюжки! — говорю я. — Всё равно что-то я им не доверяю.

— Кому? — Петя спрашивает.

— Да неграм. Не доверяю и дела с ними иметь не буду.

— Бабушка, а они разве дело какое тебе предлагают? Ты ведь и негров-то нигде не встречала.

— Ну, не знаю, но что-то они мне не нравятся — отвечаю я.

— Ты понимаешь, что это в тебе говорит твоё врождённое отношение к чужим, или, по–учёному, априорное. Ты должна с собой бороться и понимать, откуда у тебя это презрение. От страха чужого.

— А от страха, так это что? Как его, страх-то, преодолеть, если я боюсь их.

— Ты нашла тех, кто ниже тебя.

— Как ниже? Вон какие здоровенные и страшные по улицам бродят. Есть по телевизору и приличные, даже есть красивые, но по улицам вон какая шпана шалдыбашничает.

— Бабушка, ты должна себя сдерживать.

— Не могу я себя преодолеть насчёт «реальности», «априорности». Не понимаю я таких заумностей.

— Ты ведь такая добрая, открытая, беззащитноуступчивая, и как ты можешь быть против негров, чтобы убить всех чеченцев, как клопов? Никак не могу понять как такие разные убеждения уживаются в одном человеке?

— Ну, если я так приучена.

— Неужели в каждом человеке в зародыше сидит палач?

— Может, и сидит?! Я люблю смотреть на разные происшествия, иногда читаю «Криминальную хронику», люблю про убийства, заговоры… Интересно. А вот философствовать — я не мастер. Никогда не умела за себя постоять, не могла кричать и злиться.

— Добрая, говорит Петя, а как же так ты читаешь «Криминальную хронику»? Любишь глядеть на происшествия? Патологию всякую обожаешь. Почему ты любишь разрушение и хаос?

— Что я могу сказать? Люблю смотреть на разрушение и

происшествия, как-то они меня будоражат. Так всё спокойно, скучно, а тут просыпаюсь. Я когда маленькая была, помню, как разбила одну рюмку, чуть прикоснулась, удивилась, что она так быстро разбилась, я этим же движением смахнула вторую, посмотреть, что с ней случится, и она тоже разбилась. И мне вроде жалко рюмок и в то же самое время приятно, что так как хотела, так и сделала. Хотение было такое. А потом вроде всё прошло.

— Бабушка, тебе всё само по себе интересно без всякого морального центра. У тебя всё стихийное и нет борьбы внутри тебя… Всё вокруг есть, а тебя нет. Ты наслаждаешься и прекрасным и ужасным, смотришь на катастрофы. Ты из всякого явления для возбуждения себя вымогаешь сильные ощущения.

Заморочили они мне голову. Но постепенно я начинала отходить от приученности. По приезде я всё читала «Курьер», гороскопы, галлюцинации, убийства, ясновиденье… Чего только не прочтёшь! Дочка и внук решительно не хотели слышать, что там написано, обзывали эту газету «жёлтой прессой». Я поначалу всё верила в несуразности и нелепые слухи, что печатаются, сейчас уже реже туда заглядываю, всё меньше и меньше меня привлекают криминальная хроника и негры.

В телевизоре тоже часто этакие пустяки, фильмы ерундовые. Часто вздор и чепуха. Тут как-то смотрела один фильм испанский, одна порнография, и целуются, и целуются без конца, не хотят, а целуются, смотреть противно. И что интересного? А уж как мне эти модели надоели, тощие, как цыплята, видно, совсем не едят, и ходят, и ходят взад и вперёд. Ни титек, ни задницы, жидкие, никакой красоты. Часто в американских комедиях такие фокусы, которые мне кажутся глупыми. Мне никогда не бывает смешно, если кто споткнётся и упадёт. Я не понимаю, что смешного в том, чтобы бросить другому человеку в лицо торт? Петя говорит, что многим американским людям тоже не нравятся передачи по телевизору, и есть американские семьи, где совсем нет телевизоров. Этого я тоже не понимаю, как это живут совсем без телевизора?

Кроме «криминала», меня внуки обвиняли ещё и в пессимизме, или, правильнее сказать, в негативности.

— Бабушка, ты на всё смотришь негативно — заявил как— то мне Петя.

— Как это «негативно»?

— С оттенком какой-то обречённости. Что не будет такого цвета, не найдут этого размера, не пройдёт, не подойдёт… Не взойдёт эта трава, не получится…

— Я так привыкла.

Я раньше и не замечала этого, но постепенно стала подмечать, что нет–нет да скажу, как чувствую, а моим не нравится. Всю жизнь мне говорили, что, Даша, ты добрая, я и привыкла, всё говорить, как есть.

— Бабушка, я худею!

— Всё равно поправишься!

— Маша, ты, наверно, уже заболела? Иди в койку!

Птица влетела в окно. Я говорю:

— Плохая примета.

— Бабушка, не говори так.

Маша ищет щетку, чтоб почистить пальто.

— Вот, нашла одну!

А у меня невольно вырывается:

— И эта пропадёт.

— Как хорошо поёт молодой русский певец! — сказал Петя. А я отвечаю:

— Всё равно сопьётся…

— Бабушка, вода не закипит! — дразнит меня внучка.

Всегда невыгодное для себя говорю, я выгоду свою не понимаю, мне всё равно. Другие всю жизнь хлопочут, что и как устроить, а мне лишь бы в сторонке где постоять. Не понимаю я удовольствия и наслаждения, врать не умею. Так вот какая штука-то, жизнь прожила, а врать не умею. Что можно от меня ожидать?!

Поехали к Маше в школу… Чем дороже школа, тем дети хуже одеваются. Меня школа удивила: в классе дети всех возрастов — и седьмого, и пятого вместе. Это не классы, а группы. У кого английский слабее, тот в младшей группе, а по математике он в высшей. Распределение идёт по знаниям. А где же недоучки?

— Бабушка, это для того, чтобы всем было хорошо.

— Маша, чтобы не унижать лентяев и чтоб они не догадались, что они отличаются от прилежных и умных? Хорошо ещё, что не оставляют на второй год успевающих, чтоб двоечников не травмировать.

Маша «брала», как они тут выражаются, не то, что дают, а что сама хочет взять, то, что ей нравится — и… все пятёрки… Йога, искусство, обсуждение фильмов.

— А каких писателей вы «берёте» по литературе?

— Шекспира, Сэлинджера, Роса.

— Про Сэлинджера я слышала, а этот Рос про что пишет?

— Про жизнь детей еврейских и итальянских иммигрантов в Бруклине.

— А до русских писателей кто-нибудь добирается? Кого из русских берут?

— Достоевского, Толстого. Бабушка, вот тебе не нравится, как

в Америке, а в России в школе каких американских писателей изучают?

— В школе при мне — задумалась я, — кажется, никого не изучали…

Вот говорят «образование», «образование», а если спросить конкретно: что в него входит в образование? Скажите мне? И столько вы услышите противоречивостей! Я всему миру сообщу, что мало хорошего я видела и в нашем школьном образовании. Я всю жизнь хранила этот секрет. Работа была трудная, всё время на уроки приходили, проверяли, всё по инструкциям. В классах по сорок человек и как держать их во внимании? Слушать ничего не хотят, хулиганят, дисциплина — это страшное чудопредставление, иногда стоят на ушах. Моего характера не хватало урезонить сорванцов. Были хорошие ребята, но оставим это. А что проходили? Я слышу, как критикуют американскую школу, что тут пестуют тупиц и невежество, а я и про русскую такого могу порассказать, что лучше этого не трогать.

— Вот только непонятно мне, почему тут школьники стреляют в друг друга? — спросила я у Пети. — В наших школах возможно ученик бы застрелил учителя, завуча, того, кто по его мнению, ему вред нанёс, но чтобы просто по своим приятелям стрелять, я думаю в России было бы невозможно. Что ты скажешь?

— Бабушка, тут «тинэйджеры», мне кажется, чувствуют себя более одинокими, чем в России, потому что в американских школах нет таких, как у вас, тесных взаимоотношений между учениками, нет таких общих классов, в Америке все ребята вместе с родителями переезжают с места на место. Трудно дружить. И ты сама видишь, что учителя здесь так строго не обращаются с учениками, как в России, и потому не вызывают сильного «негативного объединения» учеников. В России вся злоба вытесняется на наставников.

— Это как при советской власти все были вместе против общего врага, — заметил зять.

А на кого Петя учится в университете, я так и не поняла. На политика? Социолога? Литератора? Музыковеда? Тут всё вместе идёт. Вразумительного ответа на мой вопрос я не получила. Как они мне объяснили, только после окончания колледжа начинается настоящий выбор деятельности, а до этого долго всё подряд учат, и перебирают, и перебирают до самой пенсии. Может это и хорошо, а то в семнадцать лет ведь как можно ошибиться.

Помимо внуков, важное место в моей американской жизни занимает кот. Чтобы мне было повеселее, подруга дочки Тамара

привезла из Нью–Йорка котёнка, рыжего, в чёрных круговых полосах. В этом маленьком котёнке с самого детства были заметны редкая хитрость и коварство. Если мимо дома проходила большая и значительная собака, то он ложился на спину и с поднятыми лапками подползал к грозному зверю. Как он это делал? Извивался всем телом, будто акробат или змея, приближался к собачьей морде и сдавался. Собаки от растерянности начинали его умилительно облизывать, кот замирал и хитро поглядывал. Петя его снимал на плёнку. Если же проходила маленькая невзрачная собачонка, то он не обращал на неё никакого внимания.

Когда кот подрос, то умных человеческих показателей у него появилось ещё больше. Дети называют кота Шопенгауэр, а я — Шоп. Он не только продолжал ползать, но и научился менять тембр голоса, мяуканья, в зависимости от своей нужды. Если ему нужно поесть, попить, то он такой нежный, подласкивается, трётся около ног, мурлыкает. А если Шоп чем-то не доволен, то тут не попадайся. Укусить и оцарапать запросто может. Лапой бьёт, сбрасывает с полки книги, шипит, устраивает «скандал» по высшему человеческому образцу, точь–в— точь, как жена моего племянника — Танечка, если что не по ней.

Чтобы пустили в дом, забирается по дереву на второй этаж на балкон, там садится на кондиционер и барабанит. Ходит со мной и со всеми «вокруг квартала», как собака, проходит больше километра, не обращая внимания на кастрированных, которые смотрят на него с завистью. Но самое «гениальное» — это его отношение к одному парню, который приходит к детям в гости. У него есть собака, я не знаю, как такая порода называется, без шерсти и похожа на нашего бульдога, только морда покрасивее. Я люблю лохматых. Так вот такие бульдожные собаки котов не выносят, и при первом знакомстве этот нахал неистово набросился на нашего Шопа. Кот извился в дугу, навострил уши, зашипел и вцепился лапами хулигану в морду, тот аж подскочил. Хозяин схватил своего дурака и оттащил. С тех самых пор, как только входит этот приятель и без собаки, кот идёт ему навстречу, тихо–тихо подкрадывается к нему и бьёт его лапой по ногам. Когда этот человек оказывается рядом с ним, то каждый раз шипит и норовит ударить. Как-то при целой толпе гостей кот забрался на высокий стул, вроде как задремал, но как только приблизился к нему хозяин наглеца, то Шоп зашипел и в мгновение занёс над ним лапу. Чуял опасный собачий запах. У нас в деревне была собака Глаша, она соседским курам не разрешала подходить к дому. Как Глаша наших кур отличала от соседских? Они все одинаковые, но она отыскивала своих.

Докончу про кота Шопа, общение с которым до сих пор доставляет мне удовольствие.

Как я уже говорила, если ему хочется чего-то, то он ходит вокруг ваших ног кругами, такой обаятельный, вы никогда не подумаете, что он хищник и что он всё припомнит. Ест он консервы специальные. Я однажды попробовала, ничего, немножко пресноватые, но есть можно. Наевшись, ложится и замирает, уже в эти самые минуты, если кто его побеспокоит, то он так хорошо огрызнётся, пожалуй, как человек, которому от тебя уже ничего не нужно. Только у людей эта реакция как будто не такая чистая, а вот у кота она непосредственная, хотя и не благодарная. А смотрит прямо в глаза, будто видит все твои проступки… и будто он умнее всех. Петя шутит, что я животных люблю, потому как они в бессознательном состоянии, «бабушка, ты себя с животными чувствуешь на высоте».

— Что же делать, Петя, если только с ними я могу разговаривать по–русски!

А зять Миша на Шопе изучает сознание и теорию гениальности. «Кот, — говорит зять, гениальный, потому что он расширил свою заданную модель, перешёл через неё, а человек для своего обихода не использует и половины того, что Бог заложил». Миша не очень-то любил нашего кота, пока кот не открыл ему эту «модель». Теперь коту иногда разрешается сидеть у зятя на коленях.

Ведь вот что удивительно в моём зяте. Я с ним первый раз тут в Америке встретилась, он такой добрый, всё улыбается, с приятностью говорит. Такой обходительный, всё спасибо, всё хорошо, всё вкусно, всем доволен. Физик, занимается научным разумом, делает компьютерных людей. Выводит какие-то формулы, по каким человек думает. Я никак не могу понять, что это такое «компьютер»? Все говорят интернет, интернет? Не понимаю — как можно людей вычислить? Можно ли? А я как посмотрю на Мишу, так и подумаю, разве может быть умным человек такой добрый и мягкий? Я так прямо дочке и сказала, что не могу поверить, что Миша умный, уж слишком он добродушный и простосердечный. Я не так умных людей представляю. В лице должна важность сиять, тогда и чувствуешь почтение. Дочь посмеялась, что я так рассуждаю, и сказала: «Так только обыкновенные люди думают, стандартами». А где же я возьму не стандартные? Я и есть обыкновенный человек. Так человек устроен. И если спросить, то большинство так и ответит, что умный человек значительный, величественный.

— Должен напыщенно смотреть на всех, сверху вниз? — спросил Петя и показал.

— Можете смеяться сколько угодно, напыщенность — жалкая штука, и не путайте меня, я не про это говорю.

Что же меня, старую русскую женщину, объединяет с моими американскими внуками? Родственные чувства. А какие разногласия? Никаких. Ведь со взглядами не живешь. Живёшь с чувствами. Думаю, что я правильно говорю.

Жизнь моя потекла спокойно, как течёт жизнь многих бабушек и дедушек, приехавших в Америку и живущих интересами своей семьи. Утром после завтрака я была уже в саду и принималась просматривать газеты и журналы с новостями и историями про Россию. После этого тяжёлого чтения шла на прогулку по тихой улице поговорить с домами и вспомнить об оставленном, о кое–каких прошлых историях и предметах. В мыслях я невольно сравнивала наши убогие, жалкие вывернутые скамейки во дворах, тощую зелень с ободранными ветками с этими свежими, живыми изгородями из цветов, с тихим блеском покоя, прикидывала и задавала сама себе вопросы, на которые и знала, и не знала ответы: почему же тут так, а у нас? Иногда чувствовала, как стала спадать пелена с глаз и в другом виде вставали передо мной прежние события, как менялись мои, казалось, утверждённые отношения и понятия. Была поражена, как беззаботное зевание пробуждало такие неуловимые душевные осадки. Как будто бурый волк куда-то несёт и неизвестно, что дальше. Со временем, насмотревшись вдоволь, я будто бы смирилась с различиями тутошней и тамошней жизней, или просто перестала на этом сосредотачиваться, привыкла, как ко всему привыкает человек.

После приготовления обеда и разговоров с котом, смотрела русские телевизионные новости по интернациональному каналу. Все вместе собирались только на обед, зять иногда запаздывал, он всегда работал. Ночью можно было наблюдать, как из его кабинета шло компьютерное сияние и слышен был мягкий стук клавиш. Вечерами иногда спешили в ресторан или на концерт. И опять я подмечала, как хорошо американские люди обращаются с друг другом, и в очередях, и в толпе, не говоря уже об ослепительном ресторанном обслуживании.

В России почти все живут до самой смерти в семье, и моя мать, и бабушка, и дедушка. Моя прабабка долго жила у нас на печке, там и гостей принимала и помню, как мы, маленькие, к ней туда лазили, и она угощала нас орешками. Тут нет такого теснения и единения, всё устроено другим образом: люди независимы друг от друга, покупают и получают собственные квартиры, дома и в одиночестве грызут свои орешки. Приехавшие эмигранты «покрываются» разными программами и заботами не

только правительства, но и частных благотворительных организаций и отдельных филантропов, и обеспечиваются как содержанием, так и самостоятельным жильём. Я несколько раз посмотрела на подобное жильё, побывала в гостях, и мне захотелось тоже пожить независимо в русской компании, чтобы можно было общаться на родном языке. Живая понятная речь, обсуждения, общее прошлое, всё это меня привлекало, и после некоторых колебаний — ведь я в жизни так мало принимала самостоятельных решений и привыкла жить на всём готовом, — мы записались в один из таких филантропических домов. Лене приглянулся один больше других из-за того, что в нём хорошие квартиры, много наших и близко к её кварталу. Средства на этот дом поначалу отпустила миллионерша Вандервиль, и хотя потом уже и другие присоединились вместе с американским правительством, но за домом осталось её миллионерское имя. «Вилькин дом», так по— простому стали его величать.

Позже я побывала в замке Вандервилей в Нью–Порте, тех ли, что дали денег на наш дом, точно не знаю, они уж там больше не живут, спросить не у кого. Видно, весь капитал потратили на бедных? Их роскошная вилла на берегу океана теперь превращена в музей, и можно полюбоваться, как жили миллионеры в своём дворце среди тенистого парка с закрученными ветвистыми деревьями. Внутреннее убранство помещений замысловатое и многообразное: своды, камины, позолота, фрески, серебро. Банкетные залы, расписные потолки, картины, фарфор. Всё отливает золотом и блистает царской роскошью. Зимний экзотический сад со стеклянным сводчатым потолком. И это всё на одну семью?!

В нашем доме, хоть и нет такой ослепительной роскоши, но предусмотрено решительно всё: есть концертный зал, библиотека, столовая и даже магазин. Представьте себе большой многоквартирный дом в саду. Если пройти по саду, то можно увидеть, что сад совсем не запущенный, всё подстрижено, разбросаны клумбы с цветами. Парадный вход украшен колоннами, а стены жиром и грязью не вымазаны. В передней сидит привратник и открывает двери. Во внешнем обличии дома нет заскорузлости и замшелости. Кремлёвский санаторий может позавидовать чистоте и порядку. Конечно, не все хотят сюда селиться. Отец дочкиных друзей так прямо и сказал — не хочу жить со старухами. Я же захотела, и после разных формальностей одним весенним днём появилась в одной из квартир «Вилькиного дома» со всем своим имуществом.

Словом, две комнаты с громадными окнами, выходящими на закат, балкон, кухня, ванная и кондиционер, а под окнами

простор, ели, цветы — всё это стало моим прибежищем, моим независимым владением. Про квартиру и дом не могла не написать в Россию, как любо и приятно мне тут жить, как в часы захода солнца смотрю с балкона на город и кажется, что стены домов покрываются блестящими красками. А вечерами вижу как город превращается в океан огней, и в дневное время всегда вокруг наблюдается ясное и величественное спокойствие. Через неделю или две звоню своей институтской подруге Асе, что вот, мол, получила такое утешительное жильё, дети обставили, и что так я довольна… А она мне: «Твоя бывшая соседка Клава преподносит всем, что тебя дочь в богадельню определила. У самой-то дом! И места для матери не нашлось!» Я так и замерла, даже телефон чуть не выпал из рук. Ну надо же, чего только не наговорят! Вот есть какие люди, всё перевернут, извратят все факты. И отчего же это всё? Специально, чтобы не завидовать, чтоб всё опозорить, вишь как самим обидно. Я сказала тогда Асе: если бы мои российские подруги посетили бы меня, прогулялись бы по саду, вышли бы на балкон, ощутили бы на себе уход и заботу, то не говорили бы такого, и я бы хотела, чтобы у них всё было также. Квартиру обихаживают, приходят два раза в неделю, наводят порядок и чистоту. Можно даже иметь специального человека еду готовить и по магазинам ходить, но я отказалась — что я, барыня какая? Дочь говорит, что во мне ещё живёт «равенство и братство», вместо понимания, что любая работа уважается и убиратели ищут работу, а ты мол, не даёшь.

Я вдруг задумалась и долго передумывала, и перебирала в голове и это «равенство и братство», и недоразумения. И вот тебе на, как поняли моё письмо. Но ведь я и сама всё не так представляла и не воспринимала слов, когда читала письма из Америки. Помню, сколько разных слухов ходило про то, что в Америке… и то и не то, и чуть ли не под газетами живут, что и говорить, «другому как понять тебя?» Как представить моим старым приятелям разные услуги, что предлагаются для меня одной! А медицина?! Болей сколько хочешь — всё бесплатное. Лекарства и препараты разносят по квартирам. И разве не обидно? Всё в другом свете кажется по письмам и через океан.

Я часто рассматриваю людей в нашем доме. Сяду на лавочку, закутаюсь в платок и шубу и час другой смотрю. Какой народ живёт в доме! Сколько наших, говорящих по— русски, может, пятьсот, а может, тысяча! И сколько китайцев! Со всего земного шара в Америку текут люди. Я не вижу в американцах такого любопытства остановиться, обсмотреть вашу одежду, туфли, юбку. Я не знаю свойство ли это русских, как внуки говорят, но мне оно присуще, привычно, и я гляжу решительно на всё в

Америке. Как кто одет, кто наши жильцы, кто куда пошёл? Оглядываю прохожих, стараюсь распознать их характер, чем они раньше занимались, что любят. Иногда стараюсь прочесть, что у кого на душе, но опыта не хватает.

Тут есть люди и совсем старые, что с палками ходят, но есть и молодые. Вот идёт старая тётка в каких-то ярких тряпках, брюки в крупные полосы, как у клоуна Коклачёва, что с кошками выступает. А вот выглянула из окна второго этажа растрёпанная голова с большим носом, с виду настоящая ведьма. Там уверенно спешит к почтовым ящикам интересный господин в золотых очках, по виду полный профессор. Один прошёл в ботинках, из которых торчали тапки, позабыл их снять, а на куртке висела этикетка, видно задом наперёд её надел. С улицы Бассееной. Проковылял, прихрамывая на одну ногу, мужчина, похожий на большого начальника, а за ним мелкими шажками прошмыгнул в дверь другой, напоминающий Акакия Акакиевича с иллюстрации. Все гоголевские герои узнаются и представлены в самых ярких красках. Особенно много обоего пола Плюшкиных, не уступают по частоте встречаемости хвастунишки Хлестаковы, да и глупые Коробочки нередки.

Русских замечаю сразу, все телесные движения не такие как у американцев, жестикуляция резко отличается какой-то простотой, прозрачностью, неизвестного нет. В американцах всё перепутано, трудно отличить богатых от бедных, образованных от необразованных. Не могу в точности описать, почему так видно наше происхождение, но своих опознаю всегда, даже со спины, тут всё почему-то ясно. На новых местах люди не изменяют своего характера.

А иногда можно заглянуть в приоткрывшиеся двери и рассмотреть, у кого какое убранство. В отдельных квартирах мебель позолоченная, лакированная, хрустальные вазы с сервантами. Мне это нравилось раньше, у меня такого не было, но сейчас уже не хочу аляповатостей, да и дочка с внучкой застыдят. Я вместе с ними всё подобрала, они развесили картины, свой гобелен немецкий отдали.

Кажется, во второй день заглянула к соседке, её дверь справа от меня, испекла пирог, думаю, зайду, познакомлюсь. Она открыла дверь, такая хмурая, не улыбается. Окинув взглядом комнату, я решила, что оказалась на складе, где хранятся старые вещи. В комнате было видимо–невидимо мешков и мешочков. Посредине лежал скрученный рулон, то ли ковер, то ли перегородка.

Нагромождение всего. Платья, кофты, тряпьё. Всё навалено кучей. Хлама целая комната, и от этой ветоши запах удушающий.

Позже увидела, что не только одна она такая, что и другие собирают всё старьё, поношенные вещи, изорванные сапоги, побитые чашки, всякую ветошь, будто нищие в России. И зачем?

И зачем все запираемся на замки? И я тоже. Петя спрашивает:

— А чего, бабушка, ты боишься?

— Мы жили в привычном страхе, так привыкли, и хоть охрана в доме и воровать нечего, а так… из общего накопленного страха.

Я не возьмусь описывать всех обитателей нашего дома, но расскажу о встречах и знакомствах с отдельными представителями. Начинаются они в лифте и на скамеечке. Если вы окажетесь в лифте с некоторыми из наших, то возможны самые неожиданные вопросы и комментарии. «А что вы так оделись? Разве на улице лето? Куда вы так торопитесь? Нажмите правильно!.». Приветливое слово мало кто произносит, все такую важность на себя напускают, только бы не уронить своего вида. Американцы вежливее, приветливее, всегда с улыбкой, дверь откроют, помогут.

Несу пакеты с едой, соседка прямо в мешки заглядывает и спрашивает: «Где это вы эти персики взяли?» — «Это не персики, это лук». «Из какого магазина несёте? Вы разве не знаете, что здесь он дороже, чем у Натана?» Всегда какой-то обидный смысл найдут… «Что же это вы сами-то несёте?» — Я отвечаю: «А что же мне, их здесь оставить?» Один симпатичный мужчина сразу вызвался мне помочь и донёс мои пакеты прямо до самой двери. Среди наших тоже есть вежливые и обходительные, но американцы по способу обращения далеко впереди.

Иду по в коридору и встречаю Цилю, что разносит программки русского телевиденья, и она сразу меня допытывать: «А ваша дочка замужем? А зять где работает? Есть внуки? Что они делают? А у них есть дом?…» И пошла, и пошла любопытничать, вцепилась в меня, как бульдог… «Вас возили смотреть Нью–Йорк? Вы там были?» Я думаю: «Ну, дело плохо!» Схватила программки и бежать.

Весь первый месяц я знакомилась со своими соседями.

Дверь в дверь жила Ида, и я пригласила её чаю попить. Это была ещё интересная дама, худощавая, подтянутая, хорошо одетая. Она вошла, обвела взглядом стены и потолок моей комнаты и сказала: «Вот этого я бы не повесила…, люстру нужно заменить, гардины поправить. Попросите дочку съездить в… там продаются хрустальные подвески, а это вешать нельзя…» Я стою в растерянности, а она продолжает: «Были ли вы в музее?» И, не дожидаясь моего ответа, пристально на меня посмотрела: — «Коллекция этого музея уступает Эрмитажу, но я всегда туда хожу. Я люблю живопись и поэзию, я не пропускаю ни одной

выставки и ни одного поэтического вечера. Вот вам реклама выступления поэтессы К. Вы, наверное, не читали её стихи?»

— Сейчас поставлю чайник и расскажу вам, как я с ней знакома, — сказала я и вышла на кухню. Только я вернулась, она взглянула на мой передник, отвернула от меня своё лицо и произнесла, будто со сцены: «Я ещё не встретила здесь никого по моему уровню, у меня среди наших эмигрантов нет друзей, потому что абсолютно всепо моему интеллекту ниже меня, мне не с кем общаться. Я сразу вижу у всех потолки. Спасибо, я чай пить не буду. До свидания». Встала и ушла.

Вот тебе на! Не захотела слушать, что эта поэтесса, — моя племянница, и что у меня есть последний сборник её стихов.

— И что смотрят люди в музеях-то?! Думают, что вот— вот кто-нибудь из картины выползет? — прокомментировал Петя.

В первую же неделю зашла ещё соседка со второго этажа, посмотрела, посмотрела, молча посидела и ушла… ничего не сказав. Некоторые люди ничему не удивляются, им кажется, что это хорошо.

Со временем у меня завелись друзья, о которых я расскажу позже, но сразу по приезде в дом я поняла, что не нужно с налёта к себе приглашать и ходить в гости. Может быть, лучше послушать и осмотреться?! И я стала обживаться, осматриваться и привыкать к новой жизни. Я знакомилась, когда ходила по разным делам, в библиотеку, магазин, столовую или сидела на скамеечке возле дома. Слушала, о чём люди говорят, чем интересуются.

О чём рассуждают? Говорят большей частью о всяком вздоре… Такая разговорная чепуха. Приведу примеры самых обыкновенных разговоров на скамейке: «Что я сегодня ела на завтрак?.. Я отварила картошечки, положила лучку… Сварила суп с приправой. Вы знаете, какие вкусные солёные огурцы…»

«Где вы это купили? У Зины. У какой Зины? У Натана дешевле на три копейки…» Как прожить дешевле, как сэкономить? В разговорах часто проскальзывает мелочная щепетильность.

И про то, у кого что болит. «У меня спину ломит. А у меня вот уже несколько лет ноги… в икрах отказывают». Советы дают на месте. Могут вылечить от любой болезни. Прихлопыванием, приплёвыванием, припарками… «Американцы это не понимают.

Уж какие в этой Америке врачи! Только за деньгами гоняются».

Я не скажу, что люблю про высшие материи, но и подобные разговоры меня не притягивают. Спросят что— нибудь, но не ждут ответов на вопросы, а продолжают своё, никому не

интересное… А то начнёт кто-нибудь громко на всю скамейку хвастать, чтоб все слышали, и долдонит, и долдонит: «Моего сына все знают. Вы слышали, как он преуспел? Ведь умнее-то его нет никого». Будто верят, что люди не умирают до тех пор пока придумывают волшебные истории. Мне это мои дети подарили. Мои дети такие распрекрасные. Купили мне четыре хрустальные вазы…» Им хочется, чтобы все слушали, на всю вселенную рассуждают.

А ведь нередко бывает, что дети и вовсе не разговаривают со своими родными. Показали мне одну пару — муж и жена, ещё совсем не старые, она такая видная красивая женщина, а он хоть и неказистый мужик, но приятного вида. Так про них говорили, что у них была своя очень успешная компания по компьютерам. Их сын женился на красавице из России, они так радовались, что она своя, умная, что Гарвард закончила, и пригласили её управлять компанией. Первое время всё шло хорошо, компания росла, людей набирали, кажется, человек сто у них служили. Шёл обстоятельный доход. И вместе с доходом невестка стала забирать всё больше и больше власти: вы, мол, старые, ничего в американском бизнесе не понимаете. Нужно так продавать, а не так, как вы… А идеи-то все отцовские… И отец тоже упёрся, хотел управлять по–своему. Дело дошло до суда, компанию продали, все переругались, даже внука теперь им не показывают. Молва говорит, что мать сильно переживает, стоит под окнами, хочет маленького внучонка посмотреть. В детский садик тайком приходит, уж как там мальчишку — то обнимает, целует и плачет. Ну и что, что деньги есть, а гармонии нет. Но никто себя не видит со стороны. И такого можно наслушаться на скамейках! Какие там глубинные предметы?! Всё больше рассуждают о том как придать себе пущей важности.

Многие люди при переезде теряют несравненно больше, чем предполагали, и никак не могут смириться с новым своим положением. Ведь для некоторых людей почёт и уважение, которое было у них в России, несравненно больше, чем материальные блага. И тоскуют люди по утраченному значению в обществе. Думают, что будешь хорошо кормиться, поиться, так и всё? Тут в нашем доме все на равных — и бывшие профессора, и лавочники, разбогатевшие на пивной пене. В одинаковом статусе, ни богатых, ни бедных. Пенсия в 620 долларов, квартира… К своей среде человек привязывается, а тут теряется — нет привычной работы, окружения.

Почти все в России были в рангах генералов и начальников. Раз один такой плюгавенький мужичишко перед другим так разгорячился, так распушился: «Я, — говорит, — должность

генерал–лейтенанта исполнял! У меня, — говорит, — в подчинении пять тысяч человек работало!» Речь его такая самоуверенная. А рядом с ними сидела бабка в инвалидном кресле влезла в их разговор, и дребезжащим голосом перебила этого оратора: «Уж не знаю, как кто, а мой Лёвочка был директором фабрики. Как мы жили — так никто не жил!»

Одна женщина рассказала мне на скамеечке, что детям помогает, потому что они ещё не устроены. Говорит, что трудно зятю найти работу, что он там был электронный инженер, а тут развозит пиццу по домам. Эта пицца тут очень популярная, а я не вижу в ней никакого вкуса, с хачапури в сравнение не идет.

Но не только на наших скамеечках можно всего наслушаться. Если послушать радио или русский телевизор, то публика такие наиглупейшие задаёт вопросы, что я уверена, эти люди никогда нигде ничему не учились. Но ведь у нас было какое-то обязательное образование. Как люди себя не стыдятся?! И часто слышу, как про американцев говорят, что, мол, они необразованные, бестолковые.

— Вы заметили, что американцы гораздо глупее наших?

— Как я могла заметить, — отвечаю я, — ведь я английского-то не знаю.

— Я тоже не знаю, но вижу, что они всё равно глупее.

При таких рассуждениях приходит на ум: отчего это мы такие надменные?

Никто ничего о другом знать не хочет, талдычит своё, повторяет одно и тоже. Казалось бы, нет ничего удивительного в разговорах обитателей скамеек. Но я всё— таки удивилась. Одна дама, Сарра, разговорилась со мной в библиотеке, потом ещё несколько раз мы с ней встретились, вдруг сказала мне прямо в лицо, что она ищет жениха. Я подумала, что ослышалась, и переспросила: для дочки? «Нет, — отвечает, — для себя. У меня нет дочки, у меня сын. Познакомьте меня с кем-нибудь, жениха найдите! У меня намерение выйти замуж». Я посмотрела на неё внимательно, она старше меня лет на пятнадцать, вся скрюченная, с палкой, в морщинах. Она, правда, довольно грамотная, я с ней о книгах хорошо говорила. И тут такое странное дело. Она даже не молодится и не наряжается, как некоторые, видно считает, что и так хороша. Я совершенно растерялась, не знаю даже, что ей ответить, у меня комок в горле. Образовалась пауза, я молчу, а она продолжает: «Пусть ваша дочка мне кого— нибудь подыщет». Я несколько собралась и говорю смеясь: «Да зачем вам, Сарра, старый дед?!» А она мне серьёзно отвечает: «Я хочу молодого, старого я не хочу. Я могу с любым человеком найти общий язык. Я много чего знаю и могу

быть хорошей собеседницей и спутницей. Я любому счастье составлю». От такого её заявления я совсем онемела, хотела что-то сказать, но поперхнулась. Вот так меня она огорошила. С удивлением я посмотрела на неё, может, думаю, шутит. Из-под чёрного вельветового берета выбивались седые пряди, морщинистыми руками она держалась за толстую деревянную палку. Она без всякой иронии или смеха продолжала говорить о том, какая она умная и хорошая хозяйка и как будет с ней хорошо мужчинам. Если бы кто-нибудь взглянул на неё, то увидел бы древнюю старуху, девяноста лет, которой пора уже ползти на кладбище. А она туда же! Кого она может обворожить? Опять же, себя со стороны не видит. Вот такое забрала себе в голову. Ох, как люди много о себе воображают!

Я рассказала своим про встречу с бабушкой–невестой. И что мне они наговорили! Что очень хорошо, что так человек о себе думает, что у меня, наоборот, мало к себе любви, что я должна лучше к себе относиться, что я красивая и умная. Дочка так и сказала, что до самой смерти нужно быть молодой и что эта бабка — молодец! А ты, мол, из самоумаления готова прикидываться старой, неумелой. Почему бы тебе тоже не заняться собой? Ходи по утрам на гимнастику, делай причёски, маникюр. Я потом смеялась и про себя, и вслух: «Вон женихи идут! Этот на одной ноге! Этот на двух, но головы не может поднять! Этот похож на деревянного истукана! А у этого под рукавом лопнул костюм». Вот несколько однообразных мужиков сидят в гостиной и играют в домино, только сопят и прищёлкивают языками и костяшками. Здесь нет уже никаких страстей, не отыскать сердечных знаний. Какая там любовь, замужество? Омертвели уже все чувства. Смеяться люди будут. А дочь и внуки мне всё ладят и ладят, что я должна меняться.

И никто не поверит, что потом произошло со мной. Но это я так, в общих чертах, трудно описывать перемены, которые происходят в тебе постепенно, за годы, на нескольких страницах. Вот вы и удивитесь противоречиям, как я описываю. Если бы кто теперь увидел меня — не поверил бы и не узнал.

Давно заметила, что если женщина в летах и хорошо одета, кофточка переливается, всё уложено, причёска, маникюр, клипсы — сразу понимаю, что у неё — дочка. Подойдите и спросите. А на той, что кофта поношенная, туфли замызганные, одежда печальная, без ухода и нежной заботы, заброшенная, у неё — сыновья. Почему я знаю?

Поручиться, конечно, нельзя, что мои наблюдения всегда точные, но большей частью правильные. Сын платья не пойдёт покупать, в магазин ему незачем, а невестка… Как заставить

невестку сходить со свекровью за платьем? Почти все женатые мужчины — подкаблучники, так у нас говорили, и не только такие, что с виду тихонькие, деликатные, но и те, что с гонором, орлы, и даже те, командиры, что жену бьют, вроде как верх взял, всё равно жена главная. Здорово ошибётся тот, кто поверит видимости, что мужчина управляющий. И как ни характерен он на работе или хладнокровен вообще с людьми, коснись всего отношения к миру, тут всё у мужчин от женщины. На первый взгляд кажется, что у них есть своё, а потом всё переменят под женским влиянием. Она и унизит, она и возвысит, и до генеральского мундира доведёт. А другая так настроит, разжалобит, прикинется, что… забудет и мать родную, и ничего из него не выйдет. Не поддержит. Таких не мало на белом свете. Чем объясняется такая зависимость мужчин от женщин? Я не знаю в точности, но факт налицо. От секса вся их путаница в голове… Уж больно они зависят от этого, а секс, видно, чем-то связан с бесом. Так он попутает, что конец размышлениям. Я в молодости и не подозревала, что такую власть секс имеет. Я и не предполагала, какая это таинственная сила. Сколько мужчин, потерявших голову от этого, и бегают, и бегают за женщинами, волокиты, а они их за нос водят.

Мои наблюдения справедливые и не в пользу сыновей.

Как-то Петя принёс какую-то книжку американскую о том, что вроде как мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Вся Америка, говорит, зачитывается. А мне и читать не надо, я и так знаю, какая пропасть несоответствия между мужчиной и женщиной. Женщина цель свою лучше видит и знает, что ей надо, и берёт власть над мужчиной. Много мы с моей подругой Беллой об этом переговорили, она дополнила мои выводы: «А уж как, Даша, братья ссорятся?! Сёстры между собой значительно реже, опять же ведь между ними нет других женщин».

Завелась у меня подруга Белла, её простота в обращении меня сразу расположила, а её доброта придала мне смелости, будто бы расковывала. Скажу о ней несколько слов. Она нашла меня сама, уж и не помню, зачем зашла ко мне, кажется, занести какие-то бумаги для моего зятя от своего сына. Я сидела за фисгармонией, которую мне дети отдали, и с большим удовольствием на ней играла. У нас в Рязани у отца была такая же, может, чуть побольше. Сижу, сама себе мурлыкаю что-то под нос, и тут появляется незнакомая величественная дама. Я уже намеревалась встать и прекратить своё музицирование, но она жестом попросила не прерывать моего занятия, и через минутку сама присоединилась к моему пению. У неё был благозвучный голос, чуть ниже моего, и мы с ней дуэтом в тот день перепели

все песни нашей молодости. И Вертинского и военные. Уж и темно за окнами стало, а из моей квартиры ещё нёсся «старинный вальс, осенний сон…» Вместе всплакнули и… вместе потом сидели за маленьким столиком и за золотистым чаем. Вскоре опять увиделись и стали видеться часто, пока Белла не переехала в Нью–Йорк.

Белла была в Москве профессором, доктором наук, заведовала лабораторий по глухоте детей. Она была моего возраста, но с такими необычайными блестящими изумрудными зелёными глазами и пышными короткими волосами, что казалась совсем молодой. Белла хорошо знала английский язык, и без всяческих выкрутас посвящала меня в некоторые тайны и маленькие хитрости американского обращения и обслуживания нашего дома. Я не знала некоторых возможностей, какие предоставляются в Америке людям моего возраста. Ни про бесплатные такси, ни про бесплатные ленчи и даже телефонные заграничные звонки. Всё–всё мы с ней обсуждали: и Америку, и Россию и беседовали на разные темы.

Беллу больше всего поразило в Америке, как полицейские через дорогу переводят детей. А меня поражает, что машины на улицах не угрожающе едут, как враги, а пропускают пешеходов.

Восхищались подавляющей американской вежливостью.

В одном шикарном магазине мы разглядывали шубы, просто так, без всякой цели, ничего не собираясь покупать. Неожиданно продавщица усадила нас в плетеные кресла и угостила кофе. Оказывается, Белла ей сказала, что мы устали. Нам разрешили сидеть в этой роскоши столько, сколько нам угодно. Вот бы наших русских подружек сюда!

— Тут даже гадости политики говорят с улыбкой, — сказала Белла, — без оскорблений. Ругают друг друга с трибуны, а выходят вместе и улыбаются. В конгрессе все воспитанные, самые–самые происшествия выводят наружу.

Её сын говорит, что американцы общаются на уровне концепций, что сенаторы разных партий ходят вместе на обеды, приглашают друг друга в гости. Американцам не нужно дружить, чтобы общаться.

Белла и я этому изумились. Как это не нужно дружить? Ко мне приходит убирать квартиру Фира, так я с ней и чайку выпью и поговорю. Она готовится сдавать экзамены на врача, а пока убирает квартиры, так что же она хуже других?

А когда лекарства приносит один мужчина, русский, то я всегда его приглашу выпить рюмочку коньячку. Если мы с Беллой сидим выпиваем и он приходит, так как это так, — человека к столу не пригласить? Мои внуки и Маша, и Петя тоже говорят:

так американцы не делают. Но мы уж так привыкли, и от этой привычки не избавиться.

Я много чего узнаю здесь, в Америке. Прежде я некоторых вещей и не предполагала. Всё как новость. Только я всего не могу понять, многое хорошенько не могу разобрать. Душа у меня за русских болит. Почему Россия всё время в таком затруднительном положении? Есть какие-нибудь причины? Я никак не могу понять, почему американцы так мало за наш рубль дают? Внук смеётся, говорит, что это не зависит от американцев, а зависит от стоимости рубля, который потерял свою цену. Теперь мне всё как будто яснее, там кругом такая безалаберность. Я ведь вместе со всеми находилась в уверенности, будто мы жили лучше всех, не замечали ни нужды, ни бедности. Теперь начинаю постигать, как мы себя обманывали. Но мы слушали, что нам говорили, и всему верили. Белла тоже признала, что там многому верила. И смеялась, что тут среди наших бабок кого ни спросишь, все были диссиденты.

В другой раз мы обсудили с Беллой маленький эпизод из моей прежней жизни. Когда у меня родилась младшая дочка Лиза, то необходимо было почти каждый день покупать молоко. Как-то чуть ли не с самого утра я заняла очередь на разливное молоко. Стоим и ждём эту бочку с молоком на улице. И вот привозят молоко, все обрадовались, а продавец объявляет, что молоко будет 1% жирности, т. е. совсем жидкое, снятое, вроде как вода. Я опечалилась, но молчу, другие начали ворчать, мол, разводят, наживаются. А потом одна женщина из середины очереди решительно заявила: зато всем хватит! Я тоже тогда про себя подумала, что «зато всем хватит», ничего потерпим и успокоилась. Так мы всё и терпели и терпим. Приспособились к страданию.

— Тут нет такого терпения, как что не так — так в суд, — резюмировала Белла. Тут столько законов, по каждому случаю закон, споткнулся в магазине, хорошо, — платят тебе денюжки, забрызгали тебя краской, замечательно — новая шуба, облили в ресторане горячим кофе — миллион тебе. Всегда ты под защитой, как за каменной стеной.

К моему огорчению, Белла переехала в Нью–Йорк, её сын там нашёл работу. Мне без неё стало одиноко, не с кем стало проводить время, некому мне поведать о себе.

Тут я больше узнаю о политике, чем знала. Клинтон нравится, весёлый, говорят, что он прохиндей, а мне приятно на него смотреть. Наши-то хапуги какие! Можно быть подлецом, но не потерять чутья о чести.

Завели мне собственный счёт в банке, моя пенсия прямо туда

поступает, и у меня есть свои чеки, которые я могу выписывать. Был как-то раз со мной такой случай. Я пришла в банк за деньгами и отдала чек, который я сама выписываю по образцу, написанному Машей. Стою у окна, отдала чек, жду денег. Кассирша куда-то ушла, через время вернулась с мужчиной, денег мне не даёт, и на меня ему показывает. Что, думаю, такое? Крутят мой чек в руках. Ещё подошёл мужчина, такой солидный, тоже покрутил мой чек и что-то сказал. Вижу, как через стекло зовут полицейского, который тут в зале всегда стоит, и чего это, думаю, такое я написала в этом чеке? Полицейский вдруг по–русски, с акцентом, как скажет: «Пани запутала чеки, даёт старый чек, по которому доллары уже выбрала». Я так растерялась от полицейского, не то, что он меня в тюрьму заберёт, а оттого, что по–русски говорит. Другой чек нашла, отдала вместо оплаченного, получила деньги, поблагодарила пана полицейского и ушла. Видно, из поляков.

Денег хватает с лихвой. Дочь мне всё говорит: трать, не жадничай, наслаждайся, а мне непривычно всё на себя расходовать. Вот тебе туфли за сто с лишним долларов! Да мне ведь такие туфли будет жалко носить! А мои всё рассуждают, что Конфуций предупреждал людей, что в старости самое страшное качество — это жадность. Что когда после всей жизни остаются приятными только денежные знаки, то человек становится такой неприятный. Что жадный человек ничего отдать не может — ни денег, ни таланта. Может, оно и так, но как-то спокойнее жить, когда деньги есть, вот я откладываю то, что у меня остаётся, в сумочку. У меня такая маленькая лакированная сумочка висит в шкафу, я туда наличные деньги и складываю. Иногда пересчитываю. Конечно, в нашем доме много есть жутко жадных, скупых до помешательства, как я уже говорила, Плюшкиных. Один дед на лавочке рассказывал, как он умудряется экономить, что ему удается ничего почти не тратить на себя, как он ограничил все свои расходы, как он бесплатно обедает, как ничего не покупает, всё ему дают, дарят, а все свои деньги откладывает, сказал, что уже порядочно накопил. А для чего? На чёрный день. Самому под девяносто. Куда чернее? Просто скряга. Я ещё до такой степени не обжадничалась. Но чувствую, что есть какой-то механизм внутри, который успокаивается, если есть деньги. Раньше я этого не ощущала.

Жаль, языка не знаю — вот беда.

В нашем садике я сидела и рассматривала как голуби, расталкивая маленьких птичек, ели набросанный для них хлеб, хотя и кормить их не разрешается, но некоторые кормят и я, признаюсь, тоже. «И голубь ест из рук моих пшеницу»… Нет, нет

да принесу им или белкам оставшиеся ленчи. Нам бесплатно их пять раз в неделю раздаёт один негр. Что дают? Курицу, иной раз тёплую, нежную, пюре из картофельных перьев, которое я не очень-то люблю, банан… Сижу одна, на улице нет никого. Увидела проходившего мимо мужчину, он посмотрел налево, направо и вдруг направился прямо к моей скамейке с намереньем посидеть. Ну, думаю, и зачем ему нужно тут рядом со мной располагаться. Хотела сразу встать и уйти, но потом решила, что я как дикая какая, посижу, поговорю. Мужчина такой выразительный, представительный, хотя и невысокого роста, в шапочке. В лице что-то необычное, азиатское, слегка раскосые миндалевидные глаза. Лицо не скажешь, что простое. Одет он был в яркую куртку, прямо— таки американец. Он подсел ко мне на скамейку. «Можно я с вами посижу?» Сказал что-то про белок: «Посмотрите, тут белки людей не бояться, из рук можно кормить». — «Да, я тут видела, как машины останавливаются, чтобы белок пропустить». — «А вы смотрели вчера по телевизору, как полицейская машина сопровождала семью гусей с гусятами, когда они заблудились в городе? Это дикие канадские гуси…» Разговорились. Он, оказывается, тоже в нашем доме живёт, на первом этаже, показал окна, приехал из Самарканда. И тоже бывший преподаватель, правда, в техникуме, какую-то сложность математическую преподавал. Признаюсь, что я очень удивилась при прощании, когда он сказал мне, что ему было приятно со мной познакомиться и поговорить. Моё имя он сразу запомнил, Даша, говорит, а я и никакого внимания не обратила, как он представился. Прозвала его про себя «самаркандский еврей».

На другой день я нарочно не пошла сидеть на лавочке. Как-то стеснялась, чуждалась. Дочь засмеялась, когда я ей рассказала про встречу, говорит, может, у тебя роман будет? Поклонник, говорит, завёлся! И совсем меня напугала. И хотя мы с ней часто смеялись, как я уже говорила, насчёт одноногих и криворотых женихов, но это просто так ради смеха. Какие романы? Какое ухажёрство! Посмотрю на себя, конечно, лучше многих бабок, но возраст!

Проходит неделя, другая, прохожу мимо окон «самаркандского поклонника» никого не видно. На третей неделе встретились около почтовых ящиков. Я поздоровалась, чувствую, что покраснела, не знаю, что и говорить. С какой стати я так разволновалось, будто между нами какие-то отношения. Ну, старая!

А он мне говорит:

— Что-то я вас, Даша, давно не встречал. Как вы себя чувствуете? Белок, что-то не ходите кормить…

— Я ничего, спасибо, живу.

— Тут экскурсия намечается в Нью–Йорк, не хотите ли записаться?

— А когда? Нужно спросить у дочки, может, и соберусь — ответила я просто так. Даже не знаю как к нему обратиться. Забыла, как зовут.

— Можно я вам позвоню?

И позвонил:

— Даша, это Феликс. Вы надумали ехать?

Я ещё не обдумала предложения и при его звонке сделалась ни жива, ни мертва, поджилки затряслись. Язык не слушается, ничего выговорить не могу. Наконец, после некоторого молчания, собралась с умом и сказала:

— Да, я хочу поехать. Записалась в это путешествие.

В автобусе мы сидели рядом, я старалась меньше говорить. Почти совсем отвыкла разговаривать с мужчинами. Боялась сказать какую-нибудь глупость. Всё больше он рассказывал о себе. Поведал о своей жизни. Был женат, жена умерла, русская была, блондинка, есть сын, у которого сейчас свои дети… Смотрела за окно, но не видела никаких живописных окрестностей. Нью–Йорк тоже промелькнул, как метеорит. Как быстро прошло время, как я вернулась домой, не знаю, будто во сне. Очень жаль, что я не всё могу припомнить. Я была какая-то отвлечённая, ничего не думала, смотрела, слушала. В жизни своей уже не припомню, чтобы мне так приятен был незнакомый человек.

Всю ночь ворочалась с одного бока на другой, странные явления приходили на ум, воспоминания, показалось… вдруг пригрезилось, что я молодая и радостно бегу по заливному лугу… По утренней росе. Приятные видения, прекрасные иллюзии проходили перед глазами, такие, каких никогда и не было в действительности дня. Причудилась сцена: я в длинном воздушном гипюровом платье играю концерт в светящемся, солнечном зале. Звуки, как искры, летят по воздуху. И кажется, я сливаюсь с этой музыкой. Меня уже нет, каждый звук это я, и несусь куда-то в небеса. Чувствую, как будто кто-то находится рядом. И привиделся мне этот самаркандец, и мы держимся за руки. Вот уже вместе играем. Я наклонила голову на его плечо и задрожала. И тут я испытала сладость ни с чем не сравнимую. Проснулась. Себя не могу узнать. Блаженство волшебного сна меня изменило, хотите верьте, хотите нет, появилось внутри лучезарное сияние — захотелось жить. Может, я неправильно передаю это чувство, но, казалось, изнутри кто-то шептал: «Живи, живи!» Неужели это я? Что это?

Прошла неделя. Я вся в волнении: придёт, не придёт? Самой

смешно, что так встревожилась, совсем, думаю, старая, с ума сошла. Что такое? Была всегда тихая, робкая, незаметная, ничего из себя не воображала, и что это вдруг не вылезает из головы? Бес обуял?

В тот понедельник был какой-то американский праздник. Раздался стук в дверь. Я подошла и, отворив дверь, отступила назад: стоит он с букетом тёмнопунцовых гвоздик. Я сконфузилась так, как будто меня застали за чем-то нехорошим, а ведь сидела в этот час и читала. Отчего же я пришла в такое замешательство? Отчего не знаю что сказать, куда деть руки, куда смотреть? Стою несмелая, робкая, онемевшая.

— Проходите, садитесь! Пробормотала, что не убрано, хотя Фира только сегодня наводила порядок.

— Мне нравится ваша обитель. У вас уютно, кругом цветы, — произнёс он, а я взяла в руки принесённые им тёмно–пунцовые цветы, они коснулись моего лица и как будто обожгли меня. Пошла в кухню к водопроводному крану, думаю, сбрызну их и поставлю в вазу. Вода льётся мимо, цветы в вазу не запихиваются, рассыпаются. И как их пристроить? Как угомонить эти гвоздики? Капли сверкают на них, как слёзы. В самом деле, что это я так переполошилась? Может быть, журчащий шум от брызг скроет моё волнение? Я и представить себе не могла, даже в мечтах ничего не думала… Возможно, чтобы так взволноваться? Как хмельная. Престарелая Лолита! Мне вдруг стало стыдно. В самом деле в какую-то секунду я захотела, чтобы он ушёл… сама не знаю, почему? Отогнала от себя эту мысль. А капли текут по хрупким стебелькам и лепесткам цветов. Нет, это роса, не слёзы. «Не думай ничего негативного». Или сон меня как-то переменил, или влияние Америки, дочки, внучки или чего? Внезапно я внутри переменилась. Вытащила из шкафа бутылку коньяка, который мы с Беллой не допили, и, вернувшись из кухни, вдруг безотчётно для себя сказала:

— Феликс, я вас ждала.

А сама букетом прикрываюсь, будто хочу понюхать цветы, и сквозь головки цветков с холодными капельками росы искоса гляжу на него. Мне показалось, что он слегка смутился. Поставила вазу на стол, принесла рюмки и коньяк, и букет оказался между нами. Я отодвинула его на край столика, но время от времени взгляд приковывается к этим тёмно–пунцовым цветам. Они освещаются светом от лампы, искрятся и лепестки отбрасывают игольчатую тень. И никто не поверит, что цветы давали мне успокоение, какую-то уверенность. Посмотрю… и на душе спокойнее. Нет, не слёзы, а роса. Такая роса бывает по утрам на лугах, — думаю про себя.

Феликс тем временем рассматривал фотографии, стоящие у меня на письменном столике.

— Вы такая красавица! Вы были очень красивы в молодости, но и сейчас ваше лицо прекрасно, — слышу я его спокойный, приятный голос. Мне никто никогда не говорил, что я была красивая, не принято было! Так нас воспитывали, чтоб не зазнавались. Теперь-то я вижу, что и правда, — наши женщины не хуже ихних американских, только вот беда, не хватало нам ухода, хорошего гардероба и собственного возвеличивания. Только тут в Америке до меня дошло, как это важно. Я, однако, с самой молодости всегда лицо тёрла суконной тряпкой или мочалкой, и может быть, потому у меня морщин мало, моложе, говорят, выгляжу и, бывает, не верят, что у меня такие взрослые внуки.

Мы сели за стол и после того, как выпили по капельке коньяка, приступили к чаепитию. Я поставила свои любимые чашки из тончайшего китайского фарфора, переливчатых цветов, купленные Леной в антикварном магазине, вместе с чайником, на котором был выписан зелёный дракон.

— Какой вы любите пить чай? Заваренный в чайнике или разлитый по чашкам в готовых мешочках? — спросила я.

— Мне будет приятнее, если вы приготовите чай сами, — ответил Феликс. Я захотела моментально исполнить его просьбу, слишком круто повернулась, чтобы достать драконовый чайник, и задела локтем стоявшую возле меня чашку. Она разбилась. В растерянности стою над переливающимися осколками, и не то, чтобы мне её было очень жаль, а просто огорчаюсь от своей неуклюжести.

— Я такая неловкая… Замолчала.

— Не тяготитесь, Даша. Это к счастью, — сказал он и наклонился подбирать осколки моей оплошности.

Не могу забыть той минуты, когда он подобрал осколки бывшей чашки, бережно их сложил на столе и, стоя на одном колене, посмотрел на меня. Глаза у него были глубокие, вдумчивые, ясные. Взгляд тихий, ни лукавства, ни надменности. По глазам ведь человека видно, как кто смотрит. Он сел перед столом на маленькую скамеечку напротив меня и взял мою руку.

— Даша, у вас добрые голубые глаза. Вы сохранили чистоту своего сердца, и все такие люди кажутся всегда гораздо моложе своего возраста.

Я вздрогнула, лицо моё похолодело. Что ты будешь делать? Я потеряла все силы говорить, онемела. Я ничего перед собой не видела, не слышала и на какое-то время исчезла. Как из небытия я увидела ясно только лампу с красными и зелёными узорами. Всё пошло в голове крутиться… красное и зелёное, как в моём

сне. Был вещим этот сон? Я перепутала внутри себя реальность и фантазию. Уж не помешалась ли я? Подступило отрадное чувство, не похожее на те, которые всю жизнь переживала. Я не имела опыта в отношениях и чувствах и просто совершенно замерла в этой отраде.

Он стал спокойно рассуждать о том, как ему хорошо со мной, как не хочется уходить.

— Вы любите петь?

Я умоляюще посмотрела на свою маленькую фисгармонию, думаю, сейчас придёт спасенье, спою что— нибудь, ничего не нужно будет говорить. Я подошла к своему маленькому инструменту и запела.

Пусть я с вами совсем не знаком, и далёко отсюда мой дом…

Слышу, что он тихонечко подпевает… «Так скажите хоть слово — сам не знаю о чём?»

Можно ли завтра зайти? — Может, отговориться? Стою, не отвечаю ни одного слова. Потерялась совершенно, подняла глаза на букет — ни росы, ни слёз — вся вода уже испарилась. И вдруг сама от себя не ожидая, произношу:

— Милости прошу! Феликс, я буду рада.

В тот вечер я долго не могла успокоиться… Вспоминала стихи и строчки Пушкина: «О, кто б немых её страданий в сей быстрый миг не прочитал?» Ахматовой: «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». — Я и без перчаток растерялась. Всю ночь лежала с закрытыми глазами и не могла уснуть. Много картин проходило перед глазами. Слова Леночки шептала про себя: «Мама, все себя переоценивают, а ты наоборот, не понимаешь своей ценности. Ты умная и красивая. Ты должна лучше к себе относиться». Как? Что сделать для этого? Как удержать в себе это отрадное состояние?

Через день Феликс пришёл с двумя чашечками на ножках, поставил их рядом и сказал:

— Эти чашки так и будут всегда стоять рядом. А мы из них будем всегда пить чай. Так просто и убедительно, он это сказал, что я только улыбнулась.

Наступил настоящий перелом в моей жизни. В течение полу го да моё существование полностью изменилось: я подружилась с Феликсом. Я всю мою жизнь ждала какого— то изменения, хотя мне казалось, что у меня и не было возвышенных мыслей. Я почувствовала на себе действие, уж не знаю, как и выразиться, прекрасного отношения, в чистом виде, и его безмерная доброта меня будто растопила. У нас возник братский союз. Произошло чудо: каждый день стал как праздник. Почти каждый может почувствовать, как из доверия и понимания вырастает новая,

молодая душа. Всё настолько было неожиданным, насколько и непонятным, ни с чем не сравнимым состоянием.

Вместе с дочкой я купила себе два платья, одно в самом дорогом магазине «Блюминдейл» из натурального шёлка–сырца, зеленовато–коричневого тона, и другое в комиссионном бархатное фигаро синего цвета. Даже от Маши я получила поддержку и одобрение:

— Бабушка, ты теперь можешь в Голливуд ехать, какая ты у нас стала нарядная и красивая. Давай только переменим бусы, эти к этому наряду не подходят. Сюда лучше надеть ожерелье из кораллов. — Так сказала мне Маша, когда я первый раз в жизни вырядилась в заграничные шелка, и смотрела на себя в зеркало. Я расправляла складочки на юбке, погладила тёмновишнёвые бусины кораллов и слышу: «Бабушка — влюбилась!» — Бабка очумела — подумала я.

Юная бабушка!

Кто целовал Ваши надменные губы?

Теперь бабушка и концерт рэпа готова посетить. И тебя, бабушка, можно в другой век перенести и ничего не изменилось бы!

Я и правда, другой становилась, и чем более я задумывалась над происходящим, тем более поражалась себе. И кто бы мог подумать, что из моего душевного дна подымутся новые чувства и всё так изменится. Я с Феликсом вдруг разговорилась, все слова разом стали выходить из меня. Иногда сама себя перебивала, задерживалась на разных мелочах, путалась, но зато от всей души говорила обо всём. Все забытые воспоминания всплывали, припоминались тысячи подробностей моей жизни.

Я рассказывала ему о нашей деревне Непложе на реке Проне, притоке Оки, где остался родительский дом, как замирала, вдыхая запах заливных лугов, когда после того, как учебный год проходил и наступали летние каникулы, мы всей семьёй отбывали туда на отдых. На станции нас встречал сосед Вася на двух лошадях, впряжённых в телегу. И с этого момента, как в непрерывном сне, начиналась спокойная, светлая, тихая деревенская жизнь. Сельская дорога идёт по полям, мимо церкви, огибает реку, а в воздухе такой запах свежего сена, что делаешься пьяной. Потом дорога уводит вглубь заливных лугов, переливающихся, как серебряный океан. Со всех сторон птицы заглушают друг друга, то одна выскочит из травы и так зальётся, то другая. В солнечных лучах мошкара клубится, и воздух дрожит, и вся земля, кажется, звенит и замирает в этом звоне.

Я отсюда вижу, как возле нашего палисадника уже толпятся дети и ждут гостинцев. Они окружают нашу телегу и будто

навечно застывают в позах, выражающих любопытство. Я достаю гостинцы — сушки, баранки, конфеты и раздаю. Немного осмотримся, и подходят деревенские бабы и мужики с приветствиями и интересами. Наговорят разных историй досыта, и ни радио, ни телевизора не надо. Поинтересуются: не помочь ли чем? Даже хромой Костя придёт. А по вечерам около дома многочисленное собрание играют в карты, поют, беседуют. Но больше всего я любила ходить в лес за грибами, по росе, на рассвете, когда на небе появляются лёгкие прозрачные полосы. Идешь по просеке, будто по дворцовому коридору, обрамлённому куполообразными елями, усеянными блестящими каплями росы, с играющими в них лучами восходящего солнца. Как поднимешь тяжёлую ветку ели, стряхнёшь с неё все капельки алмазов, и там сокровища, — семья белых, крепких, нарядных, чистых, хрустящих. Наберём по целой корзине этих обольстительно–свежих даров из-под ёлок, и на душе тепло. А тут и грибов никто не собирает. Когда внуки увидели, как я около озера набрала несколько подосиновиков, то они такого наговорили, что лес поливают всякими химическими веществами, и что нельзя есть эти грибы, а лучше купить в магазине. Петя сказал, что тут есть специальные грибные клубы, куда нужно вступить, чтобы всё было научно, обосновано — нашёл гриб и неси на комиссию. Скучаю только по деревне, хотя со временем уже многих нет. И грустно будет сейчас туда вернуться, смотреть на опустевшие избы, мало кого там я сейчас встречу из своих бывших знакомых. И молодые тоже поразъехались, никто уже не хочет жить в деревне. Я вам скажу, что сейчас я даже и не рвусь туда, отошло, но иногда подступает…

Как приехала в Америку, то сразу попросила своих показать мне американскую деревню. Сколько они мне не показывали деревень, — все они не отличались от дочкиной улицы. Везде: Макдональсы, пиццы, музеи, собрания магазинов, асфальтовые дороги и никакого различия между городом и деревней я тут не обнаружила. В одной из так называемых деревень под столицей Олбани, кажется, она называлась Вудсток, было шумнее и балагурнее, чем в любом городе. Там такой стоял на улицах карнавал, столько раскрашенной художественной публики, бывших хиппи, как сказал Петя, что происходящее в этой деревне в сто раз суматошней, чем в самом Нью–Йорке, разве что без окружения небоскрёбов. Галереи, толпы, скоморохи, музыканты с барабанами на каждом углу, рестораны, в одном из которых мы пообедали и поехали в свой тихий город. А настоящей деревни, куда не заезжает ни одна машина, и где бы не было автоматов с кока–колой, без всякой цивилизации, я так и не видела. Тут везде

«обустроенная» и своеобразная Америка, ни город, ни деревня.

Часто мы говорили о нашем поколении, которому пришлось столько пережить. Добровольцем, совсем мальчишкой семнадцати лет, он пошёл защищать наши идеалы. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» До сих пор эти слова задевают за живое. Все мы искали иллюзии, и не хотели ничего материального, мы не так рассчитывали, как наши американские внуки. Что интереснее? Феликс говорил, а я слушала. Я стараюсь припомнить в точности, как он размышлял, и записать его мысли. Он рассуждал, как мы были погружены в красоту иллюзий, и как перед нами заволакивался мир страданий, а новый мир надежд захватывал светлым блаженством. Я не скажу, что мы чувствовали себя одинокими, заброшенными, несчастными, мы были в отрадной иллюзии, в мечтах. Кто счастливее? Кругом считали, что нельзя рассматривать себя, как отдельного человека, а только всех в целом. Может быть, кому-то удаётся с сызмальства отделить себя от всех, от коллектива и общества, но я никогда о себе ничего не думала и считала себя как все. Со всех сторон доказывали, что нужно жертвовать собою для всех, и я жертвовала и, по словам дочери, самой себе ничего не осталось.

Чтобы быть в состоянии жить, через мечту мы оправдывали своё существование. Вот что было! Мы жили не для себя, а для идеи, как сейчас понимаю. И наша иллюзия погибла, как противоречие, как конфликт, она покончила самоубийством. Трагически, как говорят профессора.

Да, я была раб иллюзии, хотела быть, как все, и была в точности. Как вспомню о Сталине, неприятно. Феликс рассказал как он в 53 году отдыхал в Гаграх в санатории «Гребешок», по легенде одна из великих княжен потеряла на пляже гребешок, отделанный брильянтами, с тех пор его не могут найти. В какой-то день главный врач санатория пригласил Феликса поехать в горы, они сначала поехали в сторону Хосты, потом свернули налево, и через небольшой туннель оказались на прекрасной асфальтовой дороге, с маленькими гротами по краям, что это такое? Это блиндажи для охраны, оказывается, врач приготовил сюрприз — они ехали на бывшую дачу Сталина. Феликса поразила скромность дачного помещения и масса книг, в которых были закладки. Книги по истории, строению Вселенной, философии, и особенно много книг про римских императоров. Из роскоши он отметил только водопровод с морской водой.

Для каждого из нас он был как бог! Мы воздавали ему божеские почести. Я думала, что он замечательный, мудрый, добрый. И детям это преподносила. Я же не знала, что я вру. Все люди, окружавшие меня, верили в то же самое, что и я. И не было

ничего сильнее нашей веры. И вот что оказалось. Теперь только узнала, что другие про его смерть, подумали: «ну, слава Богу, кончилась тирания» — и вздохнули с облегчением. Я тогда таких людей не знала. Феликс, помню, сказал, что многие сейчас произносят все гадости о Сталине, чтобы отделить себя от его преступлений.

И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час…

— Но только тем, что скажешь, «Сталин — палач, убийца», — себя не оправдаешь перед будущим. Все мы сливались воедино своими желаниями построения прекрасного и не хотели ни видеть, ни слышать о преступлениях, и должны разделить вину.

И хотя некоторые его соображения, мнения, взгляды сразу не понимала и не принимала, но чувствовала в его словах что-то настоящее. В молодости я не подозревала обмана, на тёплом доверии к людям строила свои отношения.

На Новый год и на Рождество я нарядила небольшую ёлочку, да такую стройную, будто её у кремлёвской стены срезали. Ведь здесь, что удивительно, все до одной елки, что продаются, одна пушистее другой. Почему же наши-то елки такие ободранные, обглоданные, кривобокие? Ведь лесов-то сколько! Я все в толк не возьму. «Елки–палки специально выращиваются для наших людей», — иронично сказал Феликс.

Я люблю смотреть, как украшаются в это время дома1, и Петя, у которого были каникулы, решил показать нам с Феликсом рождественское убранство города. Снега нет, но все улицы в Рождество утопают в ослепительных сияниях. И это от сияния такое праздничное настроение? В нарядах из кружевных огней стоят деревья, будто муаром окутаны. А дома1 опоясаны гирляндами из зелёных веток, перемешанных с золотом. Один мужик, что заслужил первую премию по украшению дома, устроил из электрических лампочек переливающийся водопад. Просто Ниагарский. Звонят колокола, толпится народ, в эти дни церкви особенно торжественны.

— Вон как шпиль блестит! Давайте остановимся и заглянем в американскую церковь, — попросила я, — я так давно не была в церкви. Когда вошли во внутрь, мне сразу бросились в глаза высокие своды, без конца и без окончания уходящие в небеса: нет потолка. Аж дух от высоты захватило! В центре этого необъятного пространства висела люстра на длинном серебряном канате. Потом я обратила внимание на пол, уставленный большими скамейками, и на стены, декорированные растениями. На церковных скамьях сидели люди, перед ними на мраморных консолях стояли подсвечники со свечами и были разложены книги. На сцене, там где должен быть алтарь, священник или

проповедник без всякого специального облачения, не в рясе, а в простом сером пиджаке играл на гитаре. Он вроде бы стихи читал и все за ним повторяли. Псалмы? Или что? Как в концерте или в организации. Но до чего интересны громадные окна с витражами! И я всё больше их рассматривала. Сквозь витражи просвечивал багровый свет, как будто внутри стёкол плясали факелы. Промелькнуло, как меня маленькую водили в Рязани в церковь, и как там звуки пения возносились к сводам, и как последняя нота набегала на ещё не замолкнувшие отголоски первых.

— Почему никто не попрошайничает? Я на ступеньках не видела нищих, — спросила я Петю, когда вышли из церкви.

— Бабушка, помогать нужно духовному облику, а не материальному. Милостыня — это разврат, — произнёс Петя, будто обличая меня в чём-то плохом. — Протестантская христианская церковь поддерживает духовный облик в человеке, а не телесные потребности.

— Петя, я совсем не знаком со службами, но мне кажется, что в русских церквах есть мистика, тайна, загадочность, а вот западные будто клубы? Что ты скажешь об этом? Или это так кажется? — расспрашивал Петю Феликс.

— Не всё так просто с трудом и небесами. Мистика у русских есть, а вот на вопросы, как соединить мистику с жизнью, русская церковь не отвечает. Даже, наоборот, считается, что богатеть — это грех.

— Да, у нас так и считалось: разбогатеть — стыдно, богатые — плохие. У нас мистика смешалась с ленью, и этого оказалось предостаточно, — поддержал Феликс.

— Может быть, потому и произошла в России революция, что коммунисты обещали счастье на земле, соединить возвышенное и материальное. Лютеране говорят, что Бог требует от человека реализовать себя в материальном мире. У основателей протестантизма Кальвина и Лютера было много мистики, но у их последователей таинственность выхолостилась. Знаете, Феликс, думается, на Западе произошла Реформация, а в России революция.

— Петя, у тебя много учёности. Ишь ты какой, всё как представил, — сказала я.

— У древних еврейских пророков, — перебил меня Феликс, — тоже награда была только на небесах, но талмудисты потребовали реализации себя в жизни.

— Поэтому не скажешь, что евреи бедные, — вставила я.

— Петя, а вот твоя приятельница Катя, у которой отец украинец, он с немцами ушёл, тоже считает, что в Америке богатые — это плохие люди. Помнишь, она рассказывала, о том,

как жила в коммуне в городе, забыла как называется, там где Гарвард расположен, что в их коммуне главный организатор держал ресторан и кормил бесплатно бедных людей. Она говорила, что он образованный, что у него целая база данных, как в Америке много бедных и как богатые наживаются за их счёт. Катя ещё хотела, чтобы вы все встретились и послушали его аргументы. И уж было собрались его пригласить, дискуссию устроить, но в это время началась война с Хусейном. А уже после этой войны Катя пришла и вот такое рассказала: Их коммуна запаслась водой на случай затяжных военных дней. Я, помню, удивилась, что такое бывает в Америке, чтоб такая паника поднялась? Катя ответила, что да, многие запаслись водой. Они поставили канистры с водой на балкон, и этот ихний главный коммунар пошёл посмотреть, сколько воды, и потом прикрыл одеялом все запасы. «Почему? — спросил зять у Кати. — Ему что, было стыдно?» — «Нет, — сказала Катя, — он не хотел, чтобы соседи попросили воды».

И пронеслись воспоминания, как во время нашей большой войны у людей открывались лучшие стороны души. Может быть, потому, что война… Пустой чай. Расколотая на дрова мебель. Я тогда встретила много хороших людей, сочувствия, доброго отношения. Как бы сказал мой отец, люди вспомнили «великую заповедь любви».

После того как мы проехали дорогой смерти через Ладожское озеро и оказались с матерью и сёстрами в Таджикистане, в Коканде в эвакуации, на всю жизнь запечатлелось, как две молодые учительницы, татарка Раиля и Зоя, отдали мне каждая свои пол–ставки, чтобы я кормила дочку и мать. Как на пересадке в Москве, в полной суматохе и толкотне на Ленинградском вокзале, я потерялась со своей попутчицей Г алей, у которой осталась моя корзина со всем продовольствием, тёплыми вещами, и она меня отыскала уже на Казанском вокзале и вернула мне багаж. Уж не говоря о том, что золовки отдавали нам своё пропитание… Конечно, это была не игрушечная война, и вместо запасов воды нужно было запастись мужеством, терпением и добротой.

После Катиного рассказа мои решили не приглашать этого защитника бедных на дискуссию. Так рассердились и удивились.

— Ничего себе американский коммунар! Ну, в точности один к одному, как наши, — закончил нашу беседу Феликс.

И чего только в этой Америке нет! Я много чего узнаю здесь. Я сейчас вижу, что жила наощупь, впотьмах, не знаю даже почему? — прежде я некоторых вещей и не предполагала. Я и думать не думала, что так изменятся мои представления о людях,

о жизни. Как у нас говорили, я никогда не любила «в себе копаться», и вдруг с Феликсом стала «развиваться», спрашивать себя: как и почему? Откуда и куда? Мне и не снилось, что я смогу оглянуться на себя, что задумаюсь над своими отношениями, что вздумаю в себе и в других копаться и, как говорит Петя, начну приходить в сознание.

И почему только сейчас в этой новой стране я открываю для себя? Может, вместе с возрастом приходит мудрость? И всё переворачивается во мне вверх ногами. «Всё, говорит Петя, основано на разуме…» А я, думаю, на натуре. Тут ничего не поделаешь, такая родилась. Натура такая. Разве можно переродиться? Они мне всё твердят: ты должна стать личностью! Если меня никто не обучал, мои предки были такими же, то как я могу «стать личностью» в один прекрасный день, если я уже без личности? Какой меня первоначально сделала природа, такой я, видно, нужна была. Но точно я уже ничего не знаю.

Как трудно из книг научиться тому, что своими глазами не увидишь и не переживёшь.

— Феликс, ведь я и в России читала Достоевского «Записки из мёртвого дома», но как-то так по обязанности.

Помню, что он долго запрещён был в школах, потом разрешили факультативно. Я все преподавала по разработкам, что присылали из Роно, ничего сама не придумывала. И только сейчас убедилась, что понятия никакого не имею ни о Достоевском, ни о Гоголе. Ведь стыдно сказать, учительница литературы! И всё совсем не так представляла. А тут после госпиталя у дочки перечитала заново, и диву далась, как глубоко, мудро, даже прослезилась. Всё подступило. Подумайте, в Америке читаю про каторжных в царской России — и интересно. Всё предсказал: и про революцию, и про нас, «лакеев чужих идей». Вот как Достоевский людей видел.

Я в России была довольна людьми, для всех было открыто моё сердце, а сейчас вижу, как люди завидуют, хочется, чтобы тебе было похуже, чем ему. Как черствеют люди с возрастом, диву даюсь. Нет симпатии у людей к друг другу… Может, я просто раньше этого не замечала?! Я не могла вообразить людей такими неблагодарными. Мне казалось, что Гоголь откуда-то с другой планеты брал своих героев. Все говорили, что он сумасшедший. А теперь я не перестаю удивляться, что он людей-то с натуры списывал.

— Да, Даша, мы сумасшедшие, а не он. Во второй части «Мертвых душ» весь наш коммунизм показал. И с каким проникновением. А в романе «Бесы» наши вожди и их взаимоотношения. Как они подозревают, как убивают друг друга.

Я тоже не предполагал, что многое так. Говорили так презрительно: «Это — достоевщина». А это ведь жизнь, Даша!

Так пронеслись «наши» три года с Феликсом в беседах, чаепитиях, прогулках, путешествиях. За это время о чём только мы с Феликсом ни переговорили! Обсуждали прочитанные книги и происходящие события. Меня изумляло, как я так открыто и свободно себя с ним чувствовала, не смущаясь никакими предрассудками.

Я иногда пела и любимые песни, и частушки, особенно Феликса рассмешила такая:

Мине милый говорил:
Милка, ты неважная,
Я ж красивый, развитой,
Меня полюбит кажная!

Я подхожу к финальной части моих записок. Феликс был смертельно болен. У него обнаружилась прогрессирующая желудочная болезнь, и не было никаких надежд на его выздоровление.

Я была при нём, когда он сидел в кресле, он предпочитал кресло и сидячее положение. Так хочу всегда сидеть возле него и с радостью выполнять его любые пожелания. Принести воды, соку, поправить плед, которым укрывались его ноги, включить или выключить кондиционер. Я готова была целый день и ночь находится возле него. Я читала ему вслух «Анну Каренину», хотя я видела, что он почти не слушает, а дремлет. И я тихо–тихо продолжаю читать, чтобы не разбудить.

Как сейчас вижу, всё передо мной. Он пожал мою руку, когда я принесла ему тёплый чай с лимоном. И я услышала: «Даша, вы милая, кроткая, и я никогда не встречал такой нежной заботы. Я окончу свою жизнь в любви. Я благословляю минуты, проведённые с вами!» Как ценны мне были его слова!

У меня нет никакого опыта в описаниях, но те, кто испытывал каждой клеточкой охватившее блаженство, тот поймёт меня. Я улетела за пределы комнаты, страны, мира. Ветер принёс запах сосен, которые протягивали свои ветки прямо в окна, и только одни были живыми свидетелями моего неземного настроения. Я хотела заболеть, лишь бы он выздоровел и перестал страдать. Он сказал мне на ухо: «Дашенька, мой друг, вы украшаете мои последние дни, я благодарен Богу, что он вас прислал… Я вас люблю…» Он сжал мою руку, и невольные слёзы полились из моих глаз. Я уже ни о чём не думала, ни о возрасте, ни о стыдных слезах любви. Я поцеловала его в щёку и почувствовала, что я

готова умереть вместе с ним. В это мгновение видела себя и его, неведомой силой поднятыми и летящими над… над горами, долинами… Куда? Не знаю… Что это? Моё счастье? Всё оказалось в нём. Я, молодая старуха, которой удалось пережить минуты блаженства, я могу умереть.

Новой, неведомой, странной показалась мне моя жизнь, когда я очнулась, и что-то совсем незнакомое появилось во мне. Тайна. Кому сказать, что будто не жила я больше полвека, всё было какое-то ненужное, мелочное, ничтожное. Показалось, что вся моя жизнь была, как приготовление к этому моменту. И вот одно мгновение перевернуло меня наизнанку. Зачем? Всё, казалось, умерло, все чувства были золой, и вдруг такое преображение. Я вдруг поняла общность жизни всех людей, общность веры и страданий.

Я сейчас думаю и думаю об этом. Может, для того что теперь я не боюсь смерти, я примирилась с ней. Мне не страшно умирать, я закончу своё земное существование спокойно. Я знаю, что есть тайна, непостижимая тут, в этой жизни. И есть ещё и другая тайна, мистическая, которая открылась мне на закате моей жизни.

— Прощайте, Феликс, — тихим голосом сказала я. — Я буду всегда вспоминать вас. Я вас люблю… И всё вдруг исчезло в спокойной тишине, я не плакала, мне только хотелось, чтобы он расслышал мои слова, и я увидела по его глазам и мелькнувшей улыбке, что он их услышал. В узкую щель чёрной занавески проник луч света, он протянулся прямой линией и остановился, замер на стене, я тоже замерла и тихо смотрела, и, не помню через сколько времени, отдельные предметы, те что могли принять свет, стали освещаться, и в комнате стало светло. Я открыла окно, восходящее солнце виднелось сквозь сосновые ветки.

Что я почувствовала после его смерти? Что происходило в моём сердце? Тихая вечерняя грусть. Я присутствовала при его последних часах, приехал сын… Каких только людей ни уносит время!

А я думала, что ничего больше не будет… Случилось, как в сказке: принц нашёл свою принцессу, правда, уже под вечер, осенью. Вечером благоухающей осени. «Люблю я пышное природы увяданье… Унылая пора — очей очарование… В багрец и золото одетые леса…»

Дальше уже не будет ничего. Или уже всё не будет так, как было. Я смотрела на глобус, который мне подарили дети, чтобы разгадывать кроссворды, погладила одной ладонью Россию, второй Америку, обняла его двумя руками, подержала в объятиях

и подумала, что везде есть жизнь.

Когда вошли внуки, я ещё разглядывала очертания других стран, в которых никогда не была. В них всё тоже самое? Города, деревни, дым, печали и любовь.

Неужели ты дашь это кому-либо читать?